



ИВАН ЕВДОКИМОВ

Левитан



## ВЕНОК МЕРТВЫМ

Весна 1938 года стояла холодная. Сирень медленно набирала бутоны. Крепкие и упругие, они долго не расцветали. Распустилась сирень в самом конце мая. От холода она, даже и расцветшая, почти не пахла.

В один из этих дней в настезь раскрытые ворота старого еврейского кладбища за Дорогомиловской заставой в Москве шли старик и старуха. Он бережно и нежно вел свою подругу, и оба они несли по большому букету махровой сирени: он - лиловой, она - белой. Позади, за воротами, осталось шумное Можайское шоссе, разноцветные вереницы несущихся по нему легковых и грузовых машин, оглушительная трескотня мотоциклов, гремящие телеги и таратайки из пригородных колхозов. Здесь, на этой длинной прямой аллее, была какая-то удивительная тишина. Старики шли неторопливо, уверенно и молча. Он немного по-стариковски шаркал подошвами, спутница сохранила еще легкость женской походки.

Солнце спускалось к закату. Оно светило сквозь негустую листву кустарников и деревьев. Косые, тонкие, словно натянутые, золотистые нити пересекали аллею. Старики разрывали эту солнечную паутину, и на их строгих черных костюмах она причудливо трепетала светлыми играющими лучиками.

В самом конце аллеи пара свернула налево и остановилась около могилы с черным скромным памятником. Осенью завалило могилу ворохами желтых листьев, обломанными веточками, всяким сором. Все это от времени истлело, почернело, слежалось.

Старики начали приводить в порядок могилу. Скоро она, освобожденная от мертвого праха листвы, сучьев и веток, утратила свой унылый, заброшенный вид. Повсюду выступила зеленая щетинка молодой травы, свежая, яркая, сочная. Небольшой куст жасмина, посаженный у обочины, еще не зацвел, но цветение его уже приближалось. На фоне очищенной, зазеленевшей могилы, и он стал наряднее.

Старик согнал с жасмина паука и разрушил его гнездо.

Женщина улыбнулась, открыла ридикюль и подала старику фланелевую тряпочку. Он стал протирать памятник, и скоро камень заблестел, обновился.

Женщина разложила вперемежку лиловую и белую сирень у подножия памятника. И этот маленький холм земли, согретый теплой человеческой заботой, перестал казаться грустным и одиноким.

Солнце потухло. И почти тотчас повеяло острым холодком, из кустарников наплыла резкая волна сырости.

- Пойдем, - казал старик, поправляя на шее пушистый серый шарф, - пора, мы навестили нашего друга.

Старики сделали несколько шагов и вдруг замерли на месте, улыбаясь друг другу. Гдето вблизи щелкнул соловей, вспорхнул, перелетел дальше и опять повторил начало своей вечерней песни.

- Здесь ему никто не мешает. - сказал старик.

Пока они шли обратно, соловей точно провожал их, щелкая то с одной стороны аллеи, то с другой. Он перестал, когда пара приблизилась к Можайскому шоссе, и опять все кругом загремело, загрохотало.

В воротах старики переждали несколько проносившихся грузовиков и потом торопливо пересекли улицу. Старики эти были - знаменитый художник Михаил Васильевич Нестеров с женой. Они тридцать восемь лет подряд приходят на могилу своего покойного друга Исаака Ильича Левитана.

## СЕМЬЯ

В прошлом веке жил мещанин Кейданского общества Ковенской губернии Илья Левитан. Сын раввина, сам учившийся в раввинском училище, он не оправдал "надежд своих отцов" и не добился видного положения в еврейской общине. Кассир и контролер на западных железных дорогах, он переезжал со станции на станцию, куда переводили его по службе. В 1861 году Илья Левитан служил в Вержболове. В соседнем местечке Кибарты родился второй его сын Исаак. Старший был - Авель, впоследствии называвший себя Адольфом.

Илью Левитана не удовлетворяла скромная судьба маленького служащего. Человек большой энергии и настойчивости, он старался выбиться "в люди". Талмудистской мудрости, усвоенной в раввинском училище, явно не доставало для этого. Илья Левитан переменил профессию. На подготовку ушли годы. Трудился Илья Левитан урывками, какие оставались от железнодорожной службы. Он настолько овладел французским и немецким языками, что, когда по заказу русского правительства около Ковно через Неман одна французская компания строила железнодорожный мост, Левитан был переводчиком на работах. Здесь же, в Ковно, он занимался преподаванием языков. Получал гроши, и

семья перебивалась с трудом. В поисках лучшего заработка и подходящей службы Левитан перебрался в Москву. Здесь не повезло ему, как и на родине. Никакой постоянной должности он не получил. Пришлось кое-как жить уроками, околачивая пороги богатых еврейских домов. Семья ютилась в тесной маленькой квартирке, где-то на четвертом этаже неприветливого купеческого сооружения вблизи окраины. Дети не посещали школы. Левитан был не в состоянии платить за них и учил сам.

Скоро по переезде в Москву на голову неудачника обрушилась еще более тяжкая беда: умерла мать его четверых детей. Через два года после несчастья на одной неделе заразились брюшным тифом отец и сын Исаак. Какие-то сердобольные люди отвезли их в разные московские больницы. Вернулся домой один Исаак: отец скончался на больничной койке. Тогда пришел настоящий голод. Как выжила эта семья, состоявшая из малолетних ребятишек и оставленная без всяких средств, никому не известно.

Детство великого художника Исаака Ильича Левитана окружает тайна. Он не захотел открыть ее ни самым близким друзьям своим, ни даже любимой женщине. Когда наступила пора понятного в людях любопытства к замечательному человеку, он на все осторожные и неосторожные расспросы о его прошлом ответил молчанием. Он хмурился и печально отводил глаза в сторону. Всю жизнь не проронил слова о детских годах, и неудачник-художник Авель Ильич Левитан, недавно умерший. Авель дожил до глубокой старости. Он понимал, какое место занял его брат в русском искусстве, как дорого знать все о великом пейзажисте, и, однако, старший Левитан безмолвствовал. Как будто между братьями был уговор унести в могилу тяжелые и безотрадные воспоминания. Не дошло до нас даже имени матери художника. Он никогда не назвал его. Лишь однажды он глухо сказал Марии Павловне Чеховой, сестре писателя, что, будучи ребенком, сильно бедствовал. По-видимому, не одна бедность причина резкого недружелюбия Левитана к своему прошлому.

Дети умеют быть счастливыми в подвалах и трущобах. Должно быть, мучило еще другое, воспоминания, о чем не мог переносить художник, даже далеко отойдя от неприятного. Достоверно одно - детство, отрочество и юность Левитана прошли безрадостно. Он много голодал, испытал всю горечь бедности и унижений. Это подломило его здоровье.

Художественные склонности в Левитане проснулись рано. Они были и у старшего брата - Авеля. Мальчики рисовали вместе. Когда осенью 1873 года двенадцатилетний Левитан подал прошение в московскую Школу живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой и был принят, Авель уже учился там.

Исаак пришел с твердым намерением стать пейзажистом. Ребенок сделал выбор, который часто мучительно и трудно, полные сомнений и тревог, делают только взрослые художники. Любовь к природе, безудержная и страстная, овладела мальчиком, едва он приблизился к школьному возрасту. Маленький Левитан скучал в зимнюю пору. Снег тяготил его. В годы возмужалости художник не только сохранил в неприкосновенности это чувство, но оно стало острее. Зимний холод угнетал Левитана. Под снегом умирала земля, останавливались живые воды ручейков, черной щетиной стояли молчаливые кустарники и перелески. Художник почти не писал зимних мотивов: как будто руки у него замерзли и не могли держать кистей.

Убогая квартира в четвертом этаже под крышей обладала одним преимуществом перед квартирами нижних жильцов. Отсюда, с вышины, закат горел дольше, разливался шире и глубже. Мальчик Левитан, забравшись на подоконник, часами не сводил глаз с этой великолепной, величественной картины. Он переживал волнение, непонятное окружающим. Пламя затухало. Мальчик поднимался на подоконнике во весь рост, чтобы еще раз заглянуть уже почти за горизонт, на последнюю полоску перистой вечерней зари.

Весну встречал Исаак с трепетом. Мальчика нельзя было узнать. Из хмурого, молчаливого и сосредоточенного в себе, он преобразался в непоседу. Никакими силами его не могли удержать дома. Мальчик прорывался через все рогатки. Он убегал за город, бродил в Сокольниках, в Останкине, на Воробьевых горах. Юный художник уже испытывал те высокие наслаждения, которые потом на всю жизнь стали для него подлинным большим счастьем и радостью его недолгого существования.

В Школу живописи, ваяния и зодчества мальчик пришел внутренне подготовленным художником: ему не доставало только умения выражать свои рано созревшие чувства к красоте земного мира.

## В ЭТИ ГОДЫ

Это были исключительные и праздничные годы для русского искусства. 2 ноября 1870 года на частной квартире одного московского художника произошло событие, смысл которого не вполне поняли сами участники его. В тот день был подписан устав "Товарищества передвижных выставок". Мысль о подобном объединении подал москвич Григорий Григорьевич Мясоедов. В Петербурге ее охотно подхватили: к ней были подготовлены. Замечательный документ подписал самый страстный художник - обличитель тогдашней суровой и мрачной действительности - В.Г. Перов. За ним расписались И.М. Прянишников, А.К. Саврасов.

Со стороны петербуржцев другую половину листа заняли подписи умнейшего и культурнейшего среди художников, настоящего вождя нового движения в живописи - И.Н. Крамского, потом И.И. Шишкина.

В 1871 году открылась первая выставка передвижников. Она имела огромный, невиданный в России, успех. Немудрено, что это было так. На ней появились произведения: Ге "Петр Первый и царевич Алексей", Перова "Птицелов" и "Охотники на привале", Крамского "Майская ночь", Саврасова "Грачи прилетели".

Что же случилось? Молодая школа русской национальной живописи одержала победу над старым одряхлевшим искусством, которое насаждала в стране императорская Академия художеств. Отвлеченное, условное, манерное, чуждое жизни, презиравшее живую действительность, академическое искусство было побеждено реализмом. Спор двух враждующих течений едва-едва насчитывал десятилетнюю давность.

Академическая школа обслуживала узкий круг ценителей и знатоков, самую верхушку общества, создавая искусство для "барского особняка". "Непосвященная чернь", "подлый народ" не интересовали академиков.

Культурные и передовые умы эпохи уже не могли удовлетвориться подобным ограниченным искусством "для немногих". До сих пор императорская Академия художеств являлась почти единственной законодательницей вкусов. Художники, не принятые на ее выставки, в большинстве случаев обрекались на одиночество и непризнание. Произведения оставались в мастерских или поступали на продажу в магазины рам, багетов, холстов и красок, где между прочим торговали и картинами.

Одна непродолжительная академическая выставка раз в году, наполненная произведениями из ветхо- и новозаветной истории и мифологии, портретами императриц и императоров в горностах и коронах, вельмож с орденами, эполетами и андреевскими лентами, не отражала подлинного состояния русского искусства. На академических выставках редко появлялись холсты "низкого жанра". Искусство там - парадное, избранное для избранных. Не место в нем изображению лаптей и сермяг, российской нищеты, самовластия и кнута, не место русскому народу.

Появление передвижных выставок, перевозимых из города в город, во все крупные центры, было настоящим переворотом в художественной жизни России. Выставки, заключающие в себе картины реального бытового жанра, воплощение в них окружающей действительности, подчас острой, причудливой и страшной, не могли пройти незамеченными. Самые широкие слои демократии приветствовали их, как близкое, родное, свое.

Императорская Академия художеств могла противопоставить передвижникам лишь технически высокие, но мертвые в своей сути произведения живописи. Академическая школа была вчерашним днем, который никогда не возвращается. Когда после Крымской кампании пришло время ломки дореформенных учреждений, императорская Академия художеств оказалась даже среди них наиболее отсталой. Отношение к искусству резко изменилось. Пришли другие люди. Иными глазами посмотрели они на цели и задачи искусства.

Передовое общество стыдилось дореформенного колосса на глиняных ногах, повергнутого французскими и английскими пушками в севастопольских бастионах. Но оно отчетливо понимало, что настоящую народную Россию никто не победил. Пушки под Севастополем только повредили отвратительную казарму, выстроенную на прекрасной русской земле. Тогда разгорелась большая любовь ко всему национальному, народному. Русские передовые люди того времени почувствовали себя истинными сынами страны. Искусство отразило это состояние умов.

Национальная школа живописи развивалась быстро, почти стремительно. В ней как-то сразу появились все жанры - бытовой, исторический, пейзажный. Картины русской жизни, русские люди во всем их разнообразии, национальный русский пейзаж привлекли все творческое внимание художников. Это и было нужно новой эпохе. Главенство передвижников исторически закономерно. Перов, Репин, Ге, Крамской, Саврасов - затем вскоре появился Суриков - начали и утвердили реалистическое национальное искусство. В эти годы в московской Школе живописи, ваяния и зодчества начал учиться будущий великий художник-пейзажист Исаак Ильич Левитан. Как будто только его и не хватало

национальной русской школе и самое время дожидалось творца подлинного русского пейзажа. Пока Левитан учился, художественно рос, мужал, появлялись замечательные пейзажи его предшественников - Шишкина, Саврасова, Поленова.

## НА МЯСНИЦКОЙ

В коридорах Школы живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой был тот безудержный шум, какой умеет подымать только радостная молодежь, у которой вся еще жизнь впереди. Молодежь веселилась, как умела. Обнявшись, ученики расхаживали взад и вперед, громко разговаривали, смеялись. Собравшись толпой в углу коридора, ученики возились, растрепанные и красные. На подоконниках сидели одиночки, они казались самыми скромными и спокойными, пока внезапно не срывались с места, чтобы присоединиться, к остальным.

Высокие коридоры тонули в сизо-сером дыму. Как будто все здесь были курильщиками. Люди двигались в колеблющемся тумане, что порой колыхается над заливной приречной низинкой. Топот и грохот – молодежь ведь и ходит по-своему, энергично, крепко, уверенно, - сливались с шумом голосов.

Вдруг где-то слабо зазвенел колокольчик и стал приближаться. Скоро в коридорах показался широкоплечий человек, на две головы выше любого из молодых художников. Его яркий рыжий бобрик, угрюмое веснушчатое лицо, большой нос бросались в глаза. Это был школьный сторож, солдат Землянкин, прозванный "Нечистой силой". Он ступал прямо, никого не видя, - и ему давали дорогу. Прошествовав до конца, Землянкин положил колокольчик в карман и стал открывать форточки. Старообрядец, он ненавидел табачное дьявольское зелье, заполнявшее коридоры. Молодежь начала расходиться по классам и мастерским, и коридоры опустели раньше, чем из профессорской вышли Василий Григорьевич Перов, Алексей Кондратьевич Саврасов, Илларион Михайлович Прянишников, Евграф Семенович Сорокин.

Землянкин почтительно пропустил их. Николаевский солдат замирал истуканом при виде любого начальства. По всем правилам страшной муштры, которой довелось ему испробовать в бесконечную николаевскую солдатчину, Землянкин проводил глазами профессоров и только тогда вздохнул свободно, пошевелился и принял обычный человеческий облик.

Землянкин служил в школе рьяно, с наслаждением. Огромное здание напоминало ему крепость. Преданность Землянкина профессорам была беспредельной. В глубине души своей он даже любил и этих своевольных, бесшабашных молодых солдат, какими ему представлялись ученики. Солдат же он много перевидал на своем веку, обучая всякой воинской премудрости, геройскому шагу и образцовой выправке. С новобранцами Землянкин, конечно, не мог быть за панибрата, суровость не сходила с его лица, говорил он с художниками мало и строго.

Из форточек дуло, воздух посвежел и прояснился. Землянкин двинулся в обычный свой путь по коридорам, не обращая внимания на сквозняки - закаленного служаку они не брали.

После вечерних занятий Землянкин совершал обход огромного дома снизу доверху, заглядывая во все закоулки, темные и укромные места в поисках нарушителей школьных правил, по которым никому из учащихся не дозволялось оставаться в помещении дольше положенного времени.

Школа живописи, ваяния и зодчества, управляемая Василием Григорьевичем Перовым, эта вольная московская академия художеств, была одним из свободнейших учреждений в тогдашней России. Горячим и непреклонным ненавистником крепостнического строя, художником-обличителем общественных язв, страстным и ярким человеком был Перов. В школе кипела художественная жизнь, молодежь училась у талантливых и даровитых людей, которые не по-казенному поощряли всех незаурядных учеников.

Перов, Саврасов, Сорокин, Прянишников воспитывали в молодых художниках любовь к родной стране, к ее подлинно замечательным людям, к русскому национальному пейзажу. И своими произведениями и горячей проповедью в мастерских учителя стремились вырастить молодое идейное племя, научить изображать неприкрашенную, живую русскую действительность.

Впервые в истории русского искусства отношения между мастерами и учениками утратили свой вековой казенный характер. Не было начальства и подчиненных, были старшие и младшие работники на одном поприще, связанные взаимной любовью, уважением, общими целями и стремлениями. Кажется, в этой вольной московской академии один Землянкин напоминал о старине.

Несмотря на свою старость, ретивый страж видел, как лоцман на пароходе, появлялся всюду внезапно, точно вылезая из-под пола и вполне оправдывая данное ему прозвище. Но все-таки Землянкина обманывали. Нужда заставляла быть изобретательными. Среди молодых художников были люди без крова.

В один из зимних поздних вечеров Землянкин совершал последний обход опустевшего училища. Занятия кончились. В ученической раздевальной висел голубой шарф, кем-то забытый. Дело это было самое обыкновенное. Ученики разбежались домой как сумасшедшие, вырывали из рук гардеробщиков свою одежку, надевали ее на ходу, в дверях. Немудрено в такой суете что-либо и растерять.

Но Землянкин сегодня почему-то насторожился. Его беспокоил этот заносенный, перепачканный красками шарф. Землянкин недружелюбно снял вещь с вешалки, встряхнул ее и подумал: кому бы она

принадлежала? Замечательная память, какую отличался старик, не помогла: многие ученики носили одинаковые шарфы.

В эту зиму Исаак Левитан часто не знал, где с наступлением ночи приклонить голову. Платить за комнату было нечем - и семья очутилась на улице. Братья и сестры разбрелись кто куда и кое-как перебивались. В поисках ночлега Исаак Левитан переходил из дома в дом по знакомым. Полуголодный, плохо одетый, стыдящийся своей бедности, он коротал ночь и наутро исчезал. Снова появлялся в этом месте только через большой промежуток времени, чтобы художника не посчитали назойливым и бесцеремонным. Эти ночевки были горьки и мучительны. Иногда угла не удавалось найти, и Левитан спал на бульварных скамейках.

Начало осенних занятий в школе юноша встречал как праздник. Целый день ученик без устали работал. Наступал вечер. Занятия кончались. Левитан, крадучись, пробирался в верхний этаж дома. Притаившись где-нибудь, он следил за Землянкиным, совершавшим свой обычный обход помещения. И так жил художник неделями, месяцами. Порой оставались на ночевку и другие бесприютные ученики. Редко кто ускользал от глаз Землянкина. Левитану везло. Он еще не попадался. Неудачники говорили об Исааке, что его не берет даже "Нечистая сила".

Сегодня юноша укрылся в натурном классе за сдвинутыми в угол мольбертами. Прижавшись плотно к стене, Левитан загородил свои ноги большим листом бумаги, подвешенным к ближайшему мольберту.

- Эй, кто тут? - вдруг сердито выкрикнул сторож из коридора.

Обыкновенно солдат делал обход молча. Выкрик застал юношу врасплох, он растерялся и невольно переступил на месте. Бумага зашуршала. Прикрепленный наспех к мольберту лист не удержался и соскользнул на пол.

- Левитан! - удивленно воскликнул Землянкин.

Три ученика в школе - Исаак Левитан, Сергей и Константин Коровины - считались будущими знаменитостями. Их знали все.

- Ты это для чего же тут? - спросил старик, сурово сдвинув брови, и язвительно усмехнулся.

- Я твой шарф завтра поутру в профессорскую доставлю.

Вдруг Землянкин нахмурился. Он увидел на шее Левитана точно такого же цвета шарф, какой держал в руках. Старик тщательно обошел весь класс, заглядывая за каждый мольберт.

- Я один, - сказал Левитан. - Мне негде ночевать. Завтра мне обещали в одном месте устроить постоянный ночлег.

- Говори, говори, - перебил Землянкин. - Не впервой ночлежничаешь. Я людей на свете разных знавал. Во врунах недостатка не бывает. Пойдем.

Он повел его, держа за рукав, словно опасался, что юноша убежит и снова где-нибудь укроется в огромном здании.

- Почему купцам Ляпиным не поклонись, ежели жить негде, - угрюмо говорил Землянкин.

- Там наших учеников квартирует много.

- Там все занято, - уныло ответил Левитан.

- Вдругорядь нагни спину. От поклона голова не отвалится. Кто без денег, тот без гордости. Богатый любит смирение в бедном человеке. Михаил Иллиодорович да Николай Иллиодорович Ляпины почтения ждут от просителя.

Два брата, холостяки и полускопцы, Михаил и Николай Ляпины, в какой-то взбалмошный час своей скучной жизни решили заняться благотворительностью. Во дворе их огромного владения, позади барского особняка с зимним садом, находились большие каменные склады. Купцы-благотворители переделали их в жилой дом, открыв в нем бесплатное общежитие для студентов и художников.

Солдат довел юношу до дверей и вытолкнул его на мороз.

- Нельзя в казенном помещении ночлежки устраивать, - неумолимо пробурчал Землянкин, поймав просящий взгляд Левитана, - правила не мной установлены. Хоть замерзни на улице, я тут ни при чем.

Юноша, ежась от холода, услышал позади себя грохот захлопнутой двери, лязг засовов и недовольное бормотание солдата. Левитан перешел на другую сторону Мясницкой, с грустью оглядел знакомое темно-серое здание, в котором было так тепло сейчас, и на глазах юноши показались слезы. Землянкин медленно двигался из класса в класс и тушил огни. Наконец вся школа погрузилась в мрак.

Маленькая лампочка горела только в сторожке "Нечистой силы".

Жить было негде, и, как старательно ни осматривал Землянкин помещение, Левитан все-таки ухитрился спрятаться в нем на следующую ночь. Юноша заметил, что окна, в которых не было форточек, солдат не осматривал. Левитан стал залезать на подоконники, вставал на них и, прикрывшись шторой, выжидал, когда пройдет Землянкин.

Однажды солдат прошел так близко, что штора заколыхалась, потом Землянкин секунду постоял, привалясь к подоконнику, и загасил лампы.

Юноша спустился на пол, но наткнулся на мольберт и уронил его. Грохот покатился по

всему зданию, отдаваясь в пустых мастерских и коридорах. Скоро где-то скрипнула дверь, показался слабый и робкий свет в коридоре, раздались быстрые и беспокойные шаги. С жестяным фонарем, приподнятым над головой, чтобы сразу осветить всю мастерскую, вошел Землянкин.

- Где у нас тут гости? - громко и повелительно спросил он и увидел на полу опрокинутый мольберт. - Не только прячутся, а и вещи ломают?

Увидев смущенного Левитана, солдат поднес к его лицу фонарь.

- Ну и ловок! - вдруг воскликнул Землянкин с удивлением и как будто восхищенный настойчивым юношей. - Поди, и нынче скажешь, вчера тебя здесь не было?

- Был, - твердо ответил Левитан. - Две недели живу.

- Иди за мной, - промолвил солдат, поднял мольберт и, покачивая фонариком, двинулся к выходу.

Молча проследовали длинными коридорами, добрались до вестибюля. Левитан уже тоскливо смотрел на промерзшую по кромкам дверь: сейчас она захлопнется за его спиной.

- Поди, запри парадное, - угрюмо сказал Землянкин, - в сторожке со мной ночуешь. Вошли. У старика была одна железная кровать.

- погоди, я тебе сейчас устрою постель, - услышал Левитан суровый голос солдата.

Землянкин куда-то вышел и пропал. Юноша, как вступил в сторожку, так и дожидался на том же месте возвращения хозяина. Единственная табуретка была завалена всяким стариковским скарбом, и Левитан не посмел пошевелить его. Землянкин с грохотом внес под мышкой широкие, в две скрепленные черные доски, нары и двое козелков.

- Побратим у меня гостил, - сказал солдат, - ему изготовил. Пригодилось.

Раскладывай сам. Сумеешь?

Левитан поставил немудреное сооружение на пол. Землянкин бросил на нары свой огромный овчинный тулуп.

- На нем спи, - пробурчал Землянкин, - окутываться у меня нечем.

- Я пальто накроюсь, - поспешил ответить юноша, полный благодарности к своему покровителю.

Когда козелки были устроены, Землянкин сам проверил их устойчивость, посидел на середине, с силой подвигался из стороны в сторону и одобрил.

- Стоят, и ладно, - сказал он. - Невзыскательные люди спят, нахвалиться не могут.

Левитан не сводил глаз с мрачного и неприветливого лица "Нечистой силы". Тот ни разу не взглянул на своего постояльца. Юноша на одно мгновение даже подумал, что тарик, пожалуй, может внезапно перерешить и выгнать его на улицу. Левитан поскорее улегся и притворился спящим.

- Кушал ты сегодня? - спросил Землянкин, трогая художника за плечо.

Левитан голодал уже третьи сутки но, покраснев, волнуясь, скороговоркой ответил:

- Да, спасибо, я сыт, я много ел...

- Вот я врешь, - перебил солдат. - Вставай-ка, тебе самовар разводить, а я почищу картошки, мы с тобой селедочки закусим и почаевичаем. Богат будешь, может, мне, старику, милостыню за это подашь, когда я побираться стану перед смертью по Москве.

С тех пор Левитан иногда по нескольку дней ночевал у Землянкина. Будучи не в духе, солдат отказывал ему в приюте. Зато на следующий день непременно звал сам.

Левитан выдавался среди молодых художников необыкновенным трудолюбием. Он почти не покидал мастерских, работая много и упорно. И товарищи и профессора заметили Левитана с первых лет пребывания его в училище. Скоро этюды и эскизы юноши привлекли к себе пристальное внимание. Левитана уже считали талантом, ожидая от него в будущем больших успехов.

Особенно это укрепилось в тот день, когда юношей заинтересовался Алексей Кондратьевич Саврасов. Появившаяся на первой передвижной выставке в 1871 году картина "Грачи прилетели" Саврасова произвела огромное впечатление. Поэтический пейзаж художника, глубокий по мысли и лирическому настроению, поразил совершенно новым отношением к природе, какого не найти до Саврасова ни у кого из русских пейзажистов. Будучи событием в художественной жизни России, картина имела еще большее значение для национальной русской школы живописи. Реалистическое искусство обогатилось подлинным шедевром. Алексей Кондратьевич Саврасов выдвинулся в первые ряды художников, в его пейзажную мастерскую в Школе живописи, ваяния и зодчества мечтал попасть каждый ученик. Знаменитый пейзажист пользовался влиянием и любовью в передовом русском обществе, наравне с неукротимым и страстным жанристом-обличителем Перовым.

Как-то раз в обычный школьный день - а его Левитан запомнил на всю жизнь - в мастерскую Перова, где первоначально учился юноша, скорее вбежал, чем вошел, крупный и грузный человек, в мешковатой и давно выцветшей бархатной куртке. Он явно не заботился о своей внешности. Густые с легкой проседью черные волосы его были всклокочены и торчали во все стороны, большая вьющаяся борода не расчесана, лицо и руки перепачканы углем. В мелу и пуху была куртка, вдобавок забрызганная свежими и засохшими красками разных цветов. На самом видном месте, на широкой

груди, болталась, еле держась, пуговица, пришитая белой ниткой. Алексей Кондратьевич Саврасов вбежал, улыбаясь и жадно нюхая веточку пушистой вербы.

- Уже распустилась? - опросил Перов, переставая указывать Левитану на какие-то ошибки в его этюде и повернув голову к вошедшему.

- Да, - восторженно ответил Саврасов, - я сейчас из Останкина. Все пошло... Все двинулось. Вербка первая... Ольха в лиловых сережках... Скоро всей мастерской поедим за город... Я присмотрел хорошие и удобные местечки для работы. Вдохните, Василий Григорьевич!

Перов наклонился к вербе.

- Она же ничем не пахнет...

- Как не пахнет! - воскликнул Саврасов. - Вы не слышите сладкого свежего запаха дерева? Оно уже полно соков и благоухает! По-вашему, этот серый барашек мертвый? Алексей Кондратьевич размял в пальцах барашек и протянул его Перову.

- Э, да вы совсем лишены обоняния! - недовольно протянул Саврасов. От вербы же нектар на весь класс! Вот что нам на это молодой человек скажет?

Алексей Кондратьевич дал понюхать вербу Левитану. Юноша вдохнул, покраснел и восхищенно пробормотал:

- Я слышу... Вербка в Сокольниках распустилась еще третьего дня...

- Ну вот, единомышленник и нашелся, - весело подхватил Перов. -

Посмотрите-ка на его работу. Может быть, я пейзажистов выращиваю, а не сатириков.

Алексей Кондратьевич постоял сзади смущенного Левитана.

- Поглядите, Василий Григорьевич, - шепнул Саврасов, - уши-то у мальчика горят, как угли.

Юноша сидел неловко сгорбась. Присутствие за спиной двух знаменитых художников стесняло его. Рука невольно делала неверные мазки. Ему было неприятно показаться учителям беспомощным. Левитан морщился, старался исправлять ошибки и нагромождать новые. Когда наконец Перов и Саврасов отошли и остановились далеко, у крайнего окна мастерской, юноша испытал большое и приятное облегчение. Овладев собой, он продолжал уже гораздо удачнее.

Теперь ему даже хотелось показать этюд Саврасову.

Левитан украдкой несколько раз взглядывал на профессоров. Они разговаривали в пол голоса.

Алексей Кондратьевич в чем-то убеждал Перова, тот не соглашался, отрицательно качая головой. Саврасов сердился, общипывая барашки. В конце концов Саврасов раздраженно начал обдирать с вербы кожицу. Иногда он забывался и произносил слова отрывисто и громко. Перов удерживал горячившегося собеседника. Алексей Кондратьевич сидел на подоконнике, Василий Григорьевич стоял напротив, вплотную. Саврасову было тесно, неудобно, он привставал и хотел выпрямиться. Перов, посмеиваясь, клал руки на плечи художника и не пускал его.

Вдруг сильно зазвенело и осыпалось оконное стекло. Левитан вздрогнул и вскочил от неожиданности. Он увидел совершенно растерянного Саврасова. Алексей Кондратьевич так и держал локоть в том месте, куда годил при неловком движении. Мелкие и крупные осколки блеснули на куртке, попали в бороду. Василий Григорьевич отступил на шаг и неудержимо смеялся. Ученики подхватили его смех. Алексей Кондратьевич осторожно взял два самых больших куса стекла и попробовал их вставить обратно в раму. Хохоча, Перов вынул из его бороды несколько стеклышек.

- Ну, стекла, Василий Григорьевич, бьют к счастью, - сказал Саврасов, приходя в себя.

- А кто виноват? Вы. Из-за вас я выбил. Я прошу отпустить меня на три недели. Я себя знаю... Это не каприз, Вы не соглашаетесь. Мне ничего не остается, как буянить.

Василий Григорьевич подумал и ответил:

- Так и быть. Пусть по-вашему.

Алексей Кондратьевич повеселел, сунул в нагрудный карманчик остатки своей вербы и устремился из мастерской. Левитан не сводил с него глаз. Саврасов задержался на минутку около юноши, улыбнулся ему, ткнул пальцем в ту часть этюда, которая казалась самому ученику слабой и еще неудавшейся, и сказал:

- Так бы весь холстик надо написать... Тут от души... А правая-то половинка - умничанье... Душа в холодном погребе... Краска - и больше ничего.

В перерыве между занятиями Левитана окружила толпа учеников. Он должен был двадцать раз повторить, что сказал Саврасов. Юноша сразу вырос в глазах всех. Завистники постарались умалить похвалы Алексея Кондратьевича, посмеиваясь над его слабостью к спиртным напиткам.

- Слышали, - сказал один из таких недоброжелателей, каких всегда особенно много в художественной среде, - Саврасов у Перова просился в отпуск. Запьют "Грачи"! Прощай, весна! Самое лучшее время для пейзажистов Алексей Кондратьевич прогуляет.

- Исаак, - подхватил другой, - ты бы тоже к водке приистрастился. Ну, тогда в глазах Саврасова тебе бы цены не было.

Они злословили. Более правдивые ученики открыто укоряли их в зависти и принимали сторону Левитана. А он молчал, полный задумчивости, гордый общением с Саврасовым, хотя бы мимолетным и случайным.

Снова Алексей Кондратьевич появился в школе раньше, чем рассчитывали зложелатели. Следы огромной усталости лежали на его лице, желтом, дергающемся и поцарапанном. Левитан неожиданно столкнулся со Саврасовым в коридоре. Алексей Кондратьевич знакомой стремительной походкой пробегал к своей мастерской, узнал Левитана, весело закивал на его поклон, шутливо и ласково растрепал аккуратную прическу юноши и помчался. Левитан смотрел вслед, счастливый, красный и растроганный.

На другое утро Василий Григорьевич Перов сел рядом с юношей, внимательно посмотрел его этюд и сказал:

- А вам, Левитан, не хочется поработать у Алексея Кондратьевича Саврасова?

Ответа можно было не спрашивать. Юноша вспыхнул и спрятал глаза, как прячут их влюбленные. Он очень похорошел. Василий Григорьевич залюбовался им. Левитан вообще отличался редкой красотой. Черты его смуглого лица, точно загоревшего от солнца, были удивительной правильности и тонкости. Темные волосы юноши вились. Но главное обаяние Левитана заключалась в его огромных, глубоких, черных и грустных глазах. Таких редких по красоте и выразительности глаз нельзя было не заметить даже в большой толпе.

Накануне немного пьяный Саврасов был у Перова в гостях и сравнивал этого изящного мальчика еврея с мальчиками итальянцами, что встречают путешественников на Санта-Лючия в Неаполе или у Санта-Мария Новелла во Флоренции.

- Вы понравились Саврасову, - сказал Василий Григорьевич. - Он просил меня перевести вас в пейзажную мастерскую. Да я и сам нахожу, что вам следует работать именно там.

Юноша выслушал, ничего не ответил, но вскочил с табуретки, торопливо снял этюд с мольберта, уронил кисти и краски. Перов звонко засмеялся.

- Вы уже укладываетесь?

Юноша быстро стал одним из любимых учеников Алексея Кондратьевича. Саврасов до сих пор очень ценил пылкого, восторженного и наивного Сергея Коровина, которому прочили необыкновенную, блестящую будущность. Левитан был на три года моложе. Казалось - почти невозможно соперничество с более опытным и старшим учеником. Но Саврасов пришел в восхищение от первых же работ Левитана. Вскоре у Сергея Коровина появился второй конкурент - его младший брат Константин.

Алексей Кондратьевич выделил всех троих: они должны были поддерживать славу саврасовской мастерской. Иногда Левитан опережал успехами обоих братьев, хотя Константин Коровин и превосходил его своим живописным талантом.

Художественные успехи Левитана пока ничего ему не давали, кроме хорошего расположения Саврасова, постоянной его поддержки, теплой и душевной. Несколько лет подряд юноша ходил в скромном клетчатом пиджачке и в коротеньких брюках, забрызганных красками, залатанных, утративших свой первоначальный цвет. Левитан не мог даже подумать о постоянном обеде и ужине. В Школе живописи, ваяния и зодчества было достаточно бедняков. Левитан даже среди них считался нищим.

Во дворе, во флигеле, помещалась ученическая столовая. Содержали ее старик со старухой. Звали их "Моисеич" и "Моисеевна", единственную дочку Веру - "молодой Моисеевной". Столовая была открыта с часу до трех по будням, в воскресенье Моисеевичи отдыхали. Обед из двух блюд с говядиной стоил семнадцать копеек, без говядины - одиннадцать копеек. Но и такие расходы для Левитана были велики. Юноша часто приходил сюда с пустым карманом.

В двух сводчатых комнатах, занимаемых столовой, стояли простые деревянные столы. К часу дня Моисеевичи так выскребали и начищали их, что они блестели и всегда казались новыми. Голодный Левитан еще издали втягивал в себя запах свеженарезанного черного хлеба. На столах его лежали горки. В дни безденежные, безвыходные, долго не решаясь, мучаясь от стыда, став боком, чтобы было незаметнее, юноша потихоньку брал хлеб. Сжав его в руке, потолкавшись для отвода глаз в толпе более счастливых учеников, несущих тарелки с горячими щами, котлетами, Левитан осторожно выходил на улицу. Здесь он мог уже открыто есть, как бы дожевывая на ходу последний обеденный кусок.

Старики пользовались всеобщим уважением молодежи, которая постоянно у них одолжалась, никогда никому не отказывали в трудную минуту, - попросту забывали должников. Их было так много, что неграмотные Моисеевичи, понадеявшись на память, путали одного ученика с другим. По неписаным законам в школе обмануть Моисеевичей считалось позором. Товарищи осудили бы даже голодного Левитана за его поступок. Левитан давал себе слово, что больше он не будет красть, но недолго держал его.

В один из весенних дней, вскоре после начала занятий у Алексея Кондратьевича, обласканный за удачную работу в мастерской, Левитан вышел в коридор. Голова кружилась. Юноша почти ничего не ел пять суток. Сейчас он был так переполнен восторженными чувствами от похвалы Саврасова, что все

другое на свете как будто бы не интересовало его. Землянкин еще звонил, а мимо уже пронеслась веселая, шумная, радостная молодежь, спешившая к Моисеевичам, и школа почти опустела.

Левитан видел в окно, как товарищи, обгоняя друг друга, мчались к флигелю. Юноша немного даже презирал их. Маленькие, ничтожные интересы руководили этими людьми. Они старались попасть первыми, чтобы до сутолоки схватить с буфетной стойки тарелку, металлическую ложку, подбежать к горячей плите, на которой дымились в котле щи, и получить свою порцию. Здесь Моисеевна щедро зачерпывала большой поварешкой кушанье, ловко до краев заполняла подставленную посуду. Вера получала деньги. Моисеич выдавал тарелки и ложки и почти не выпускал из рук широкого блестящего ножа, которым, окунув его в ведро с водой, резал хлеб. Горки его на столах быстро убывали, и приходилось часто подбавлять, не жалея заготовленных с ночи караваев.

Левитан сосредоточился на всем этом помимо своей воли. Вдруг с поразительной ясностью мимо губ Левитана проплыл по воздуху поджаренный румяный кусок мяса, запахло остро и сладко луком, маслом, картофелем...

Юноша закрыл глаза. Все очарование искусства, которое за минуту до этого видения точно насыщало Левитана, бесследно исчезло. Он уж не мог отвлечь себя от соблазнов, завладевавших им все сильнее и настойчивее. Глаза, не отрываясь, смотрели на красный флигель, куда больше никто не входил, а между зданием школы и столовой стайка отъевшихся воробьев ненасытно подбирала крошки.

Юноша тоскливо подумал, что пропустит время, товарищи кончат обедать, в сводчатых комнатах, пропитанных вкусными запахами, поредеет и нельзя будет взять ломоть хлеба. Левитан заторопился. Выскочив на двор, вспугивая воробьев, юноша побежал. Запыхавшись, он переступил порог, и вся решимость пропала. Моисеич смотрел ему прямо в глаза, заметив позднего посетителя. Юноша был должен за три обеда. Просить ли снова? Страшно получить отказ и неловко злоупотреблять доверием старика. Но на буфете лежала последняя стопочка чистых тарелок. Скоро их не останется. Левитан застенчиво подошел к Моисеичу.

- Сколько за тобой? - спросил он.

- Тридцать три копейки.

- О, дружок, - вздохнул Моисеич, - это ведь много. Трудно тебе будет отдавать. Левитан пообещал расплатиться на ближайшей неделе. Моисеич не поверил, что должник его так быстро разбогатеет.

- Ну, уж разве клюквенного киселя дам, - сказал старик, - щи у нас нынче выкипели, за деньги не хватит. Помни, еще пятачок прирос к твоему долгу.

- Тридцать восемь копеек... - прошептал Левитан.

- Бабка, - крикнул Моисеич жене, - отпусти кисельку Исааку. Деньги получены.

Левитан бережно понес тарелку ярко-багрового густого киселя и стакан молока. Вид у художника был угрюмый, почти отчаянный: Левитан боялся расплескать свои сокровища. Тридцать восемь копеек уплачивались сегодня. Завтра он начинал должать опять. И так до тех пор, пока художник не окончил школу.

Однажды Левитан только что взял кусок и спрятал его в карман. В это время с улицы вошел в хорошем пальто, в широкополой черной шляпе, какие тогда носили художники, незнакомый человек. По своему виду он резко выделялся среди присутствующих. Молодежь с любопытством разглядывала его, оставив свои тарелки. Левитан заметил, что незнакомец был взволнован. Он подошел к плите, поздоровался с Моисеевной и протянул ей несколько кредиток.

Старуха удивленно посмотрела на нарядного художника, на деньги, отложила в сторону поварешку, кстати поправила на седой голове белоснежный чепчик и смахнула со лба крупные капли пота. Как будто Моисеевна сама обрадовалась передышке.

- Не понимаю, батюшка, - сказала она, - за что же это? Обед у нас семнадцать копеек, а у тебя полна горсть... Да и давать ли тебе? Ты ровно бы... не наш...

- Бери, Моисеевна, должен тебе, - ответил незнакомец, улыбаясь и настаивая, - за щи, за кашу, за кисель, за хлеб, за груды хлеба, что съел у тебя даром.

Он насильно положил ей в руку деньги. Моисеевна наклонилась поближе к лицу должника и вдруг радостно воскликнула:

- Узнала, узнала!.. Володька! Ах ты, батюшки! Совсем барин! Расфранченный-то какой! Про картинки твои слыхали! Как же можно! В газетах было! Вот рада, вот рада! Садись. Отобедай по старой памяти. Котлеты нынче у нас отменные. Мясо черкасское. Все в жирку. Язык проглотишь.

Художник поблагодарил, отказался и быстро вышел. Моисеевна долго не могла успокоиться.

- Ах ты, соколик! - громко произносила она. - Какой человек честный! И позабыла, и не попросила бы, сам принес!

Впоследствии Левитан сделал то же, придя сюда знаменитым мастером.

Юноша стыдился своей бедности и скрывал ее от всех. Он притворялся веселым, довольным, беспечным. Никто никогда не слыхал от него жалоб, даже самые близкие друзья. Многие из учеников

щеголяли бедностью. Они презирали "крахмальные воротнички", как назывались прилично одетые люди. Эти нищие "щеголи" ходили с подчеркнутым пренебрежением к своему ветхому, нечищеному платью, не заботились залатать его, не починяли сапог, из которых смотрели пальцы. Левитан старался одеваться опрятнее. И ему как-то удавалось поддерживать свой многолетний клетчатый пиджак и короткие брюки в порядке. Но бедность была вопиющая и ясная и никого не могла обмануть. О бедствиях и скрытности Левитана ходили по школе фантастические слухи, как и об его необыкновенном даровании, которое заметили и товарищи и учителя еще в первых робких ученических работах. Левитан не просил помощи. Но помочь ему хотели.

Недалеко от Школы живописи, ваяния и зодчества, на углу Уланского переулка и Сретенского бульвара, помещался извозчий трактир "Низок".

Повыше, на Сретенке, другой, называвшийся "Колокола". В обоих собирались художники, когда были заработки и заводились деньги в кармане. Все друг друга знали, угощал тот, у кого появлялся лишний рубль. Особенно оживлялись "Низок" и "Колокола" в начале осени. Весной, после окончания занятий в школе, ученики разъезжались из Москвы кто куда - на летние этюды. Коренные москвичи работали в окрестностях столицы, по ближайшим дачам, бегали по урокам, делали церковные росписи. Сорок сороков московских по летам чинились, подчищались - заказов хватало. Художники, любители выпить, открывая веселую осеннюю пирушку в "Колоколах" или "Низке", так и провозглашали к общему удовольствию:

- Хлебнем во славу божию!

Удачная летняя работа обеспечивала иногда существование предприимчивого ученика на всю зиму.

Однажды в осенний вечер Левитан проходил мимо трактира "Низок". Лил дождь. Но и сквозь шум его из одноэтажного знакомого домика доносилась песня. В одной половине трактира пели, в другой плясали. Юноша не сомневался, что это гуляли свои. Левитан не расписывал церковных стен, доходы его за лето свелись к нескольким рублям, которые были уже на исходе, и художник дорожил каждой копейкой. Непогода, однако, загнала его под крышу.

За двумя столами, составленными вместе, пировали ученики школы. Два графина водки, батарея пивных бутылок, большая тарелка оранжевых раков, распластанная вобла, желтый горох, ситный и черный хлеб тесно и беспорядочно занимали всю столешницу. Веселились человек десять. Кроме учеников, в трактире были два-три извозчика. Середину помещения освободили от столов и стульев, сдвинув их в стороны. На свободном месте, выделявая невероятной ловкости плясовые "номера", в одной жилетке, с выпущенной из-под нее длинной, в пестрых цветах рубахе, носился, приседал и прыгал стриженный "горшочком", молодой извозчик.

В паре с ним, в очках, в кургузом пиджаке, задыхаясь, смешно махая руками, неумело топтался Николай Павлович Чехов. Среди восседавших за столом и распевающих песни Левитан увидел обоих братьев Коровиных, Нестерова и нескольких учеников саврасовской и перовской мастерских.

Вместе с художниками был под сильным хмельком пожилой иконописец Бобров, бывший ученик школы. Он много зарабатывал, благоволил к молодым художникам, напившись, вспоминал свою молодость и жаловался на злосчастную судьбу, которая будто бы обманула все его юные надежды. Левитан понял, что для Боброва наступили дни запоя, который повторялся три-четыре раза в год, и богомаз сегодня угощал.

- Исаак! - первым закричал Чехов, словно радуясь случаю выйти из неудачной пляски, подбежал, схватил за руки и потащил к столу.

- Какой такой Исаак? - громко и важно, но с приветливой усмешкой спросил Бобров, чувствуя себя хозяином пирушки. - Довольно Исааков! Я их пять штук написал за год!

Все засмеялись, и стали тянуть Левитана каждый к себе. Чехов, пошатываясь, принес стул и усадил товарища.

- Эй, половой! - приказал Бобров. - Поддай сковородку с мясом! Сначала кормить, потом поить!

Компания начала снова петь. Сергей Коровин дирижировал бутылкой, извозчик и Чехов почему-то неудобно поместились на одном стуле, обнимались и чокались зелеными стаканчиками с водкой. О Левитане забыли, как будто он явился сюда вместе со всеми. Он спокойно поел, выпил пива. Хмель подействовал быстро. Постоянное недоедание ослабляло. После третьего стакана Левитан уже порядочно охмелел.

Он любил русские народные песни. Даже нестройный хор, в котором певцы пели кто в лес, кто по дрова, взволновал его. Юноша пригорюнился. В красивых глазах блеснули слезы. Левитан попытался сдержаться и не совладал с собой. Вдруг он положил руки на стол, уткнулся в них лицом и всхлипнул. Заметил это один Бобров.. Он перетащил к нему стул, близко подсел и обнял юношу за плечи.

- Плачь, Исаак, плачь, - заплетаясь, пробормотал богомаз, - я тебя понимаю. Я тоже навзрыд плачу. Кто рано разобрался в жизни, тот потом не ошибется. Мальчик, ты слышишь Ивана Боброва? Иван Бобров золотую медаль получил в Школе живописи и ваяния. Ивану Боброву писать бы

Ивана Грозного, Петра Великого! Иван Бобров с головы до ног и-сто-ричес-кий жи-во-пи-сец!.. А кто он сейчас? Маляр! Поповский прихвостень! И-ко-но-де-ла-тель, сатана всех побери! Я тля, я ремесленник, я ничтожество!

Иван Бобров долго и путанно проклинал свою незадачливую судьбу, заставил Левитана выпить с ним водки, бросил на стол панцирь очищенного рака и с размаху ударил по нему кулаком. Юноша не успел схватить богомаза. Алая кровь брызнула из руки. В мякоти ладони торчали безобразные мелкие куски раздавленной скорлупы.

Бывший исторический живописец долго, безудержно плакал. Подружившаяся пара через полчаса рассорилась.

- На! Бери деньги! - кричал Бобров. - Как ты смеешь оскорблять старого художника?

- Я вам уже сказал, - с трудом выговорил Левитан, отодвигаясь вместе со стулом от богомаза. - Я не беру подачек... Я сам на себя заработаю... Я у вас не просил...

- Молчать, щенок! - гаркнул во весь голос Бобров и в ярости столкнул локтем графин и тарелку, которые разлетелись вдребезги. - Я не тебе, я на искусство даю! Во-он из-за стола, если ты мне не товарищ!

И оба они вскочили, с громом двигая стульями. Бобров скомкал в кулаке несколько бумажных рублей, сунул их на блюдо с селедкой и, высоко поднимая бутылку, залил пивом.

- Пильзенский соус! - протянул он, презрительно кривя губами. - Никому не нужны, тут им место!

Убегавшего Левитана схватил сзади Чехов и не пускал, уговаривая не сердиться и взять деньги.

- Он, брат Исаак, настоящий мастер своего дела... Обижаешь зря Ивана Ивановича. Мы тебя ему хвалили, а ты фокусничаешь.

Левитан вырвался. Он долго бродил по мокрым улицам. Ливень кончился. Но дождь еще не прошел. Мелкий, упорный, холодный, он сыпался, покрывая платье какой-то серой сплошной сеткой. Левитан промок, озяб, но лицо у него горело и от спиртных напитков и от стыда. Юноша хотел во всем обвинить одного себя, старался думать хорошо о Боброве и почему-то не мог. Все доводы рассудка были бессильны победить внутреннее чувство непонятной обиды и униженной гордости.

Дня через два Чехов пригласил Левитана к себе на Грачевку. Квартира Чеховых помещалась в полусыром подвале. Меньше всего можно было удивить Левитана бедностью. Левитан сразу почувствовал себя просто и свободно. Мать Чехова, Евгения Яковлевна, напоила художников чаем. На столе были даже баранки. Николай Павлович, видя, что гость маленькими глоточками отпивает из стакана чай и не берет баранок, улыбаясь, положил ему две штуки на блюдечко. Левитан покраснел, и товарищи засмеялись.

- Вот что, Исаак, - сказал Чехов, - живешь ты скверно. Все товарищи об этом знают. Пока кое у кого с лета деньги еще есть, складчину в твою пользу устроили. Мне поручили тебе передать.

- А если не возьму? - тихо спросил юноша после долгого молчания и борьбы с собой.

- Это будет совсем непонятно, Исаак, - с укором произнес Чехов.

С тех пор, несмотря на все старания Левитана скрывать свое безвыходное положение, товарищи непременно узнавали о нем и являлись с маленькой своей помощью. Без согласия юноши добывали и от школы небольшие пособия в пользу бедствующего художника.

Однажды к подъезду на Мясницкой на паре серых в яблоках подъехал московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков. Гость был редкий, и ученики бросились к окнам. Приезд высшего начальства чаще всего приносил одни неприятности, и профессора отнеслись к любопытству учащихся недоброжелательно.

- Продолжайте работу! - резко сказал Перов и пошел навстречу Долгорукову.

Генерал-губернатор пробыл долго, обошел все мастерские. Он был в хорошем настроении, шутил, смеялся, рассыпал похвалы направо и налево, видел всюду таланты - сановнику нравились даже те работы, которых стыдились сами авторы.

В мастерскую Саврасова, минуты за три до появления знатной особы, быстро вошел профессор Прянишников, подозрительно оглядел Алексея Кондратьевича и о чем-то пошептался с ним. Саврасов был навеселе, с туманными глазами, с багровыми, пятнами на лбу.

- Я его знаю, - громко сказал пейзажист я небрежно махнул своей большой и красной рукой. - Мы занимаемся... и все в порядке...

Левитан встал и вытянулся, когда к его мольберту приблизился Долгоруков.

- Весенний мотив, - объяснил Саврасов содержание левитановского этюда. - Последний снег в лощинах. Реки прошли.. Птицы летят с юга... Лесок... Место тяги вальдшнепов...

Алексей Кондратьевич говорил каким-то не своим голосом, отвертываясь в сторону, словно боялся дохнуть на генерал-губернатора.

- Ах, как это хорошо! - воскликнул с удивлением Долгоруков. - Очень, очень поэтично! Вы уже научили мальчика, господин Саврасов, чувствовать природу. Честь вам и слава...

- Покорно благодарю, - перебил Алексей Кондратьевич.

Василий Григорьевич Перов осторожно потянул Саврасова сзади за куртку, запрещая ему много разговаривать.

- Ученик верно передает свои впечатления от природы, - сказал князь.

- Я просто не ожидал таких успехов. Это похвально и для школы и для профессоров.

Левитан неожиданно стал стипендиатом московского генерал-губернатора. Стипендия была маленькая, не обеспечивала самого скромного существования, но все же явилась некоторым подспорьем.

Нужда ослабевала, но она еще долго препятствовала творчеству Левитана.

## В МАСТЕРСКОЙ САВРАСОВА

К нему не опаздывали. Этот большой, стремительный и косматый человек, как только зима поворачивала на лето, начинал волноваться, В мастерскую мимоходом заглядывало скупое январское солнце. Алексей Кондратьевич непременно подходил к окну, улыбаясь приветливо и радостно, и ученики знали, о чем думал учитель. Он считал предвесенние дни.

Наконец наставало утро, когда Саврасов объявлял:

- Февраль-бокогрей не за горами... День прибавился на воробыный шаг...

Алексей Кондратьевич вздыхал, задумчиво посматривал на улицу и вдруг потирал руки, предвкушая что-то необыкновенно приятное ему.

Мастерская Саврасова резко отличалась от других. В тех работали по необходимости и по обязанности. Иногда зевали и скучали. Здесь не думали о школьных наградах и отличиях. Здесь горячо любили искусство, работу, увлекались до самозабвения.

Опоздать в мастерскую Саврасова было, однако, не трудно. С наступлением весны работа там начиналась с петухами, как в деревне. Саврасов каждый день приходил поразному. Смотря по погоде. В туман и дождь позже, в солнце - раньше. И все-таки успевали.

Он умел вызывать в учениках такое же беспокойство и нетерпение, каким был охвачен сам.

В одно утро, такое тихое, точно в этом мире люди не знали о ветре, ворвался в мастерскую Алексей Кондратьевич. Он был в белой шляпе, сдвинутой на макушку, в чесучовой паре, с подрамником под мышкой и ящиком с красками.

- Дуб расцвел! - воскликнул он, задыхаясь.

И сразу вся мастерская шумно поднялась, загремели передвигаемые стулья, мольберты.

- В Измайловский зверинец, - сказал Саврасов.

Через несколько минут, еле успевая за крупно шагавшим впереди Саврасовым, ученики торопились на конку. Левитан бежал за Алексеем Кондратьевичем почти вприпрыжку. Юноше хотелось помочь ему, взяв что-либо из его вещей.

- Дайте, Алексей Кондратьевич, - сказал Левитан, - я понесу ваш ящик с красками.

Саврасов машинально сунул ему свою шляпу. Она была мала, плохо держалась на голове, задиралась кверху, и Алексей Кондратьевич поправлял ее то одной, то другой рукой.

Теперь он почувствовал себя свободнее.

- Время-то, время-то какое! - говорил Саврасов Левитану с нежностью в голосе. - Лови всегда весну, не просыпай солнечных восходов, раннего утра. Природа никогда не бывает более разнообразной и богатой. Пиши ее так, чтобы жаворонков не видно было на картине, а пение жаворонков было слышно. В этом - главное. В поэзии. А поэзию природы ты угадаешь тогда, когда полюбишь ее всем своим сердцем. У тебя и глаза-то будут смотреть по-другому, когда любовь их раскроет. Они станут большие, зоркие, всевидящие. Кому весной грязно и сыро работать, тот не пейзажист, не художник, дрянь, мазилка, ничего не чувствует и не понимает. Маляр в бархатной куртке. Искусству восторг нужен. Нет его... искусство в картине такого художника не ночевало. Все будет на месте, написано, нарисовано, хитрая и затейливая композиция, мысли прут, а все-таки генерал без пяти минут. А в искусстве эти пять минут-то самое важное. Левитан понимал его с полуслова, верил ему, любил своего резкого и прямодушного учителя.

- Смотрите, смотрите, Алексей Кондратьевич, какой формы облако выплыло от Красных ворот? - вдруг громко сказал он, привлекая к себе взгляды улыбающихся прохожих. Они остановились. Облако походило на огромную лесную опушку с темными и светлыми деревьями.

- Зимний лес, - шептал Саврасов. - Ты гляди, гляди, мальчик, каждую веточку можно разобрать. Форму всегда запоминай. Учись лепить форму. Кто этого не умеет, тому, пожалуй, и восторг перед искусством не поможет. Искусство - это знания, знания и знания. Я тебя научу немногому, если ты сам не будешь работать в мастерской, дома, на этюдах. Везде где придется. Другой художник два часа в день поработает, ручки у него затекли, спина болит, он лениво потягивается. Ну, а остальное время зад чешет. Художник - это, брат, труд, сам труд.

Еще неизвестно, кому труднее - крючнику или художнику.

- Алексей Кондратьевич, - крикнул кто-то из учеников, - на конку опоздаем! Вон уходит...

Саврасов кинулся опростеть.

И шел долгий теплый, солнечный день. На привале лежала груда верхней одежды, работали в рубашках. Саврасов в жилете. Один Левитан не снял пиджака, пряча под ним продранный локоть рубахи. Стояла какая-то особенная тишина. словно все вокруг затаилось и уж больше никогда не пошевелится. Алексей Кондратьевич и Левитан не разлучались. Они ходили вокруг цветущих дубов, точно около неведомого чуда. И Саврасов почему-то шепотом говорил:

- Ты понимаешь всю мудрость природы... Не шелохнет... Нельзя... Она охраняет цветение...

- А когда дуб начнет отцветать, тогда будет непременно ветер, - сказал Левитан.

- Верно. Готовое семя понесет. И вырастут новые дубы, новые рощи. В благодатной этой тишине происходит созревание.

Они писали и рисовали дубы по одному, по два, над водой, на пригорке. Левитан заглядывал в этюдник Саврасова. Алексей Кондратьевич недовольно грозил кистью и сердито бормотал:

- Ищи сам формы. Не подражай. Пускай будет у тебя хуже, но свое. Тем же приемом работай, что и я, но по-своему. Глаз у каждого устроен различно. Чувства одинаковые, общие, а все-таки с извилинками. Одно левитановское, другое саврасовское. Вот эту извилинку и следует передать, воплотить в красках.

И он заглянул в этюд Левитана и стал сердиться, фыркая и укоризненно качая головой.

- Очень плохо. На что у тебя походит, например, эта ветка? - Он повернул кисть другим концом и показал. - Эта сочная, темно-зеленая, сверкающая веточка разве такая в натуре? Ты ее не молодыми листьями, полными соков, покрыл, а свинячьими ушами вялыми. Штиль, спокойствие, зевота... Ветка-то ведь не пахнет!

Левитан не соглашался. Алексей Кондратьевич вскипел, выругался, а потом неожиданно сказал:

- Впрочем, не тронь пока, не переделывай... Я посмотрю после. Работай дальше. В целом, может быть, это станет на место или покажется лучше.

Левитан помолчал и заметил о легкой усмешкой:

- В прошлый раз мы березы писали в Сокольниках, вы говорили, что я ошибся...

- А вышло, что я намазал, - перебил Саврасов весело, - ну, что же, это бывает. Академики Саврасовы почему зря врут. Ты со мной никогда не соглашайся, когда чувствуешь внутреннюю правду в своей работе. Я на тебя нападу, а ты меня в сабли. Поединок так поединок. Ученик постоянно должен ловить своего учителя. Кто только в рот смотрит, тот ничего и не видит. Сколько ведь было примеров в истории искусств - гениальные художники учились у заурядных мастеров. Хороши бы были Рафаэли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тицианы и Рубенсы, если бы они цены не знали своим учителям. Мастер всегда учится для себя, а не копирует чужое. Кто копирует, тот пустышка, скорлупа от ореха, трещит, а мяса в нем нет.

Разноцветные рубашки учеников мелькали в рощах тут и там. Алексей Кондратьевич оставлял свое место возле Левитана и несколько раз за день обходил всех. Он дольше, чем у других, оставался около Константина Коровина. Левитан чувствовал даже легкую зависть и косил глаза на оживленную, смеющуюся пару.

- Здорово, здорово работает! - говорил восторженно и счастливо Саврасов, усаживаясь снова перед своим этюдником. - Вот темперамент у мальчика! Какой, какой колорист, слава богу, растет! Ты да Коровин хорошо кончите мастерскую Саврасова.

Давно минули часы, когда обыкновенно кончались занятия в мастерской. Наверное, все щи у Моисеича уже съедены или остались на донышке, о которое стучит поварешка Моисеевны, зачерпывая последнее. Все проголодались. Этого неугомонного Алексея

Кондратьевича насыщал воздух, густой и душистый от цветения природы. Саврасов не помнил о времени - кстати, у него никогда не было часов. Левитан знал, что Алексей Кондратьевич любил за работой петь вполголоса. Сегодня он был в особенном увлечении и забыл обо всем на свете, кроме своих двух дубов, широких и мощных, стоявших на солнечной полянке. Они занимали три четверти большого холста.

- Ну-ка, взгляни, малыш, - сказал усмехаясь Саврасов Левитану, - шумит у меня дуб или не шумит?

Левитан внимательно уставился на полотно, закрыл глаза и открыл.

- Шумит, Алексей Кондратьевич. Могу это вообразить легко...

- Верю. Врать тебя я никогда не учил. И они опять работали в молчании, только слышалось прикосновение кистей к холсту. И Левитан себе под нос запел любимую саврасовскую:

Среди долины ровная,  
На гладкой высоте,  
Растет, цветет высокий дуб      В  
могучей красоте...

Алексей Кондратьевич немного прислушался. Не торопясь, они два раза спели песню, переглянулись, прыснули и затаили в третий.

Вдруг Саврасов перегнулся к Левитану с чурбачка, на котором сидел, и заинтересованно сказал:

- А ведь ты меня, Исаак, нынче перещеголял. Скажи, пожалуйста, как это ты хорошо несколько веток за кромочку полотна пустил. Чудно! Дуб стал живее. Правда, у тебя места моего меньше. Да нет, и у меня бы было так лучше. Вот посмотри, я продолжу эти три ветки.

Саврасов быстро пририсовал их углем.

- Не знаю, Алексей Кондратьевич, - сказал Левитан, разглядывая, - почему-то у меня другие. У меня гуще дуб. Я теснюсь с местом... У вас зато простор для воздуха. Ветки славно висят. Как сквозные... И в них дует ветер...

- Пожалуй, и это верно. Оставим так. Поверни-ка мне твой холстик с испода, я тебе отметку поставлю.

И он яркой прозеленью написал: пять с минусом. Левитан покраснел.

- Должно быть, никогда мне не дожидаться без минуса?

Саврасов подумал и серьезно ответил:

- Этого я пока еще не знаю... Случается и так.

Они пели, писали наперегонки, враз бросали работать и задумчиво смотрели в голубое высокое небо, разыскивая в нем жаворонков. Маленькая, почти невидимая птичка где-то стремительно неслась на высоте и точно оставляла за собой длинный звенящий след. Учитель и ученик находились в том радостном, благодушном состоянии, которое охватывало их всегда на подмосковных этюдах.

Левитан знал наизусть почти все русские стихотворения, где встречалось описание пейзажей. Саврасов часто просил его читать. Саврасов затихал, старался осторожнее касаться кистью холста, чтобы не помешать чтецу, в такт кивал головой, никогда не перебивал, а подчас по лицу его текли слезы. У Левитана срывался голос, огромные глаза не видели...

Растравил Левитана Саврасов и сегодня. Он сначала глубоко вздохнул, потом протяжно произнес:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой      И в  
даль укатился...

Это было привычным сигналом. Левитан не заставил себя ждать. Лермонтов, Пушкин, Некрасов, Тютчев, Фет, Баратынский, Майков следовали один за другим. У юноши горели щеки. Он старался работать в такт стихам, делал то замедленные, то ускоренные мазки. Иногда получалось, чаще это мешало и стихам, и живописи. Тогда Левитан переставал писать и, прижмурив глаза, дирижировал сам себе кисточкой:

Как солнце золотит прощальными лучами  
И избы за рекой, и пашни, и леса,      А теплый  
ветерок меж тем, шумя листьями,      Едва-едва мои  
взвевает волоса.  
И ласково лицо мое целует ива,  
Нагнув ко мне свои серебристые листы...

- Как это, - спросил Саврасов, - откуда это про "жидкие осины"? Не могу припомнить...- А, - сказал Левитан небрежно, - так это же старое, знакомое нам:

Вон вдали соломой крытые избушки,  
И бегут над ними тучи вперегонку  
Из родного края в дальнюю сторонку,  
Белые березы, жидкие осины,  
Пашни да овраги, -- грустные картины.      Не  
пройдешь. без думы, без тяжелой мимо -      Что же к ним  
все тянет так неодолимо?..

- Хорошо, - вымолвил Саврасов, - родина... Недаром слово "родная" относится к матери и... к родине.

И они опять пели, читали стихи, попеременно разглядывали друг у друга работу. Саврасов требовал, чтобы Левитан нашел у него ошибки, и юноша почти всегда их находил, вызывая одобрение учителя.

Солнце понемногу утрачивало свою яркость. В темно-зеленых дубах стало больше черноты, и листва изменилась на глазах. Тогда захотел есть Саврасов. Он сбегал в рощу и кого-то из учеников послал в соседний с Измайловским зверинцем трактир "Свидание". Вскоре подошел к ним Чехов и, подавая Алексею Кондратьевичу сверток в серой бумаге, сказал:

- Водки нет. Одна закуска. Колбаса - "собачья радость", двенадцать копеек за ситный. - И пива нет? - недовольно спросил Саврасов.

- Ничего.

- Вот, подлецы, жрут! Шутка сказать - опустошили трактир еще далеко до вечера.

Алексей Кондратьевич разломил ситный и колбасу, молча, не глядя, подал половину Левитану.

- Давай-ка, Исаак, подкрепимся, - приказал Саврасов. - Не знаю, как ты, а я во вкусе ик "собачьей радости".

Всю весну саврасовская мастерская работала на воздухе. Школа живописи, ваяния и зодчества была только местом утреннего сбора. В Сокольниках, Останкине, Черемушках, Коломенском, Покровском-Стрешневе, во всех других близких и далеких подмосковных Алексей Кондратьевич знал каждый кустик, тропку, овраг. В тех же самых местах юноша подсмотрел такие уголки, мимо которых Саврасов пробежал торопливо, не замечая, увлекаемый более эффектным, и примечательным. Левитан стал ходить сюда один. Он приносил Алексею Кондратьевичу новые свои вещи, удивляя его и радуя.

Летние каникулы Левитан проводил в Москве. Ему было некуда ехать а главное - не на что. Пейзажей начинающего художника никто не покупал, в церквях он не умел работать, в мелкие иллюстрированные журнальчики, куда брали рисунки учеников, он еще не пробился. Он любил окрестности Москвы. Сюда Левитан пробирался тайком от отца и матери еще совсем мальчиком, пропадал здесь по целым дням, возвращался домой поздно вечером.

Раз в самом начале появления этой дурной привычки, как называли ее старшие Левитаны, перепуганный отец художника кинулся в поиски за сыном. Сверстники мальчика указали дорогу. Он ушел в Останкино. Отец издали узнал своего сына. Исаак бросился бежать. Илья Левитан со всех ног кинулся вдогонку, кричал, ругался, но Исаак мчался легче кошки.

Отец подобрал зеленый карандаш и детский альбом, потерянные сыном. Усталый, он перелистал рисунки Исаака. Зеленый сыновний карандаш поработал много. Мальчик берег место, и почти не оставалось свободного клочка бумаги. Рисунки деревьев, травы, полянок с муравьиной кучей показались отцу скучными и бесцельными. Для кого и для чего нужны эти ольхи, осины, березы, осока, гнилая ветла с дуплом?

С тех пор Исаака не искали. Когда он возвращался сам, его наказывали, ставя в угол или оставляя без ужина. Упорный мальчик молча переносил наказание и убегал снова.

Саврасов тоже проводил свои каникулы под Москвой. Учитель и ученик натыкались друг на друга. Иногда работали вместе по несколько дней, пока Алексей Кондратьевич куда-то надолго не исчезал. Левитан хорошо изучил любимого учителя. Накануне запой Саврасова нельзя было узнать. Он придирался к каждому мазку, ему все не нравилось, художник безнадежно махал рукой, отворачивался от этюда, открыто бормотал ругательства, и лицо доброго и веселого человека становилось неприветливым.

Однажды, под вечер, Левитан проходил в Сокольниках. Юноша ничего не видел и не слышал, торопясь к заветному месту, которое писал в последний раз. Вдруг Левитана окликнули. Вблизи дорожки, между двух кустов, на подостланной газетной бумаге сидел Алексей Кондратьевич с каким-то незнакомым человеком. На оборотной стороне подрамника стояла бутылка водки, лежали колбаса, огурцы, яйца и черный хлеб.

- А что я всегда тебе говорю, - закричал Саврасов, - художник должен мало спать и много видеть. Куда, на ночь глядя, бежишь? Где был утром? Что делал в вонючей Москве? Художники должны все лето жить в палатках среди природы... Садись с нами. Вот, пожми руку моему другу Ивану Кузьмичу Кондратьеву. Поэт. На Никольский рынок поставляет литературный товар. Повести, романы и арабески.

Друзья невесело засмеялись и чокнулись. - Водки хочешь?

Левитан отказывался, но Саврасов заставил его выпить. Алексей Кондратьевич отобрал у юноши все художественные принадлежности, засунул в куст и резко, повелительно сказал:

- Не пушу никуда. Академик Саврасов сегодня отдыхает, и все русское искусство на отдыхе... Маляры! Все равно никто не напишет вторых "Грачей"! Скопцы! Где им понять земную красоту! Краска у них только разноцветная, а души в ней нету. Труп, раскрашенный труп, а не природа в вашей мазне!

- Жарь их хорошенько, Алексей Кондратьевич! - выкрикнул с наслаждением Иван Кузьмич. - В-верно, пророчески говоришь! Кто, кто может, кроме тебя, изобразить вот, например, эту великую картину великого поэта. И он со слезами, потрясая кулаком, громко прочел:

Есть в светлости осенних вечеров  
Умильная, таинственная прелесть...  
Зловещий блеск и пестрота деревьев,  
Багряных листьев томный, легкий шелест,  
Туманная и тихая лазурь  
Над грустно сиротеющей землею...

- Кто, кто поднимет на свои рамена это величие? Саврасов долго и сурово смотрел на Левитана, не знающего, куда отвести глаза.

- Он, - сказал Алексей Кондратьевич и ткнул юношу пальцем в грудь.

Иван Кузьмич не поверил, переспросил:

- Этот мальчик?

И Саврасов разозлился:

- Или ты больше понимаешь в русской живописи, чем я?

Левитану не пришлось работать в тот вечер. Юношу заставили выпить за русское искусство, за французских колористов-барбизонцев, за пейзажистов всего света, и Левитан охмелел.

После захода солнца Саврасов, пошатываясь, поднялся. Он держал за горлышко пустую бутылку, размахивал ею и твердил:

- Не-е-т, Алексея Саврасова с ног не повалишь! Саврасов никогда по земле не ползает! Он видит и не ошибается.

Художник прищурил левый глаз и с силой швырнул бутылку в сосну, стоявшую на полянке шагах в тридцати.

- Урр а! - закричал Иван Кузьмич, когда Саврасов попал. - Выстрел Вильгельма Телля! Я обнажаю перед тобой голову, славный метатель диска!

Он снял свою измятую шляпу и подбросил ее в воздух. Алексей Кондратьевич торжествовал, радостно усмехаясь.

- Стекланные брызги, - сказал Левитан Саврасову, - похожи были на серебристый водопад.

- Ну, вы, поэты! - пренебрежительно ответил Алексей Кондратьевич. - Какой там водопад. Не в этом дело! Сила удара какова! Меткость! Сорокаградусная саврасовские глаза не ослепит!.. Шалишь! Не поддадимся!

Юноше пришлось вести и Саврасова и Кондратьева. Стоя они оказались пьянее, чем сидя. Только около полуночи добрались они на квартиру к Ивану Кузьмичу в конце Каланчевской улицы, недалеко от вокзалов.

Поэт Никольского рынка жил в мансарде. На темный чердак взбирались гуськом. Впереди показывал дорогу сам хозяин, за ним шествовал Саврасов, замыкал подъем "на небеса" Левитан. Он был трезвее, и ему доверили зажигать спички, чтобы освещать путь. Еще на лестнице Саврасов вдруг остановился и сказал Кондратьеву:

- Стой, непризнанный Байрон! Дворец твой пуст или наполнен? А то мы должны сначала обеспечить себя на ночь необходимым фуражом и... пресной водой...

- У меня есть спирт и рубец, - ответил Иван Кузьмич.

Саврасов успокоенно и радостно воскликнул:

- Ну, это я люблю! Ползи, друг, дальше. Исаак, зажигай светильник и следуй за мной.

В низенькой чердачной комнате с несколькими стульями, столом и широкой двухспальной кроватью Левитан с трудом отыскал лампу-"молнию". Иван Кузьмич не помнил, где она была. Только излазив по всем закоулкам, Левитан наткнулся на нее под кроватью. Саврасов громко засмеялся.

- Сочинитель! - произнес он с большим чувством. - Вот это сочинитель! Он трудится всю ночь, тушит свет с петухами и задвигает светильник под свое ложе, чтобы не наступить на него неосторожной ногой поутру. Исаак, внимай бывалым художникам. Рассвет в мансарде и темен и сумрачен...

Иван Кузьмич торжественно подхватил:

- Так жил великий испанец Камюэнс, в сыром подвале, в рубище, без пищи, но свеча его не угасла вовек.

Левитан зажег свет и осмотрелся. Все стены этого нищего жилья взамен обоев по белой штукатурке были покрыты эскизами и этюдами, сделанными углем.

Саврасов заметил взгляд Левитана и с иронией сказал:

- Это я мазал. Ивану Кузьмичу некогда блуждать по подмосковным рощам, как нам с тобой, так я их ему на стены перенес. Вот он, друг милый, и гуляет под сенью моего искусства.

Левитан вырвался отсюда поздним утром, когда хозяин и Саврасов совсем охмелели. Всю ночь они пили из маленьких продолговатых, как патроны, рюмочек чистый спирт и не закусывали. Юноше пришлось хитрить, выплескивая свою рюмку под стол. Иван Кузьмич читал свои стихи, достав из-под подушки вороха исписанной грязной и засаленной бумаги. Саврасов требовал повторения.

Наконец он приказал:

- Читай из сборника "Под шум дубравы". Иван Кузьмич послушно полез под кровать, выдвинул облезлый чемодан и вынул из него огромную конторскую книгу. На толстой корке был наклеен холст с этюдом сосен, елок и ручейка между ними. Левитан узнал работу Саврасова. Иван Кузьмич в волнении начал листать книгу. Линованная, негнущаяся бумага шелестела на всю комнату, даже чувствовался ветер, когда, растроганный от одного прикосновения к своему заветному труду, поэт Никольского рынка слишком поспешно перевертывал листы.

- А? Каково? - восклицал Саврасов, перебивая чтение и толкая Левитана в плечо. - Воткакие произведения безвестных людей хоронятся в мансардах под спудом! Почему ты, мальчишка, не хвалишь?

И Левитан хвалил, наблюдая в глазах Саврасова какой-то отчаянный и насмешливый огонек.

Первым свалился Иван Кузьмич. Алексей Кондратьевич долго не поддавался. Он нарочно допивал спирт по капле, кашлял, брезгливо морщился, отщипывал прямо пальцами от рубца, нюхал и почему-то швырял кусок через свое плечо, угрюмо приговаривая:

- На, ешь!

Сначала Левитан усмехался. Но в конце концов это настойчивое саврасовское кормление какого-то невидимого незнакомца взволновало. Левитан начал ощущать около себя присутствие третьего, и юноше стало страшно.

Саврасов был зол и желчен.

- Презираю, - бормотал он и стаскивал кулаки, грозя неведомым врагам своим. - Что вы видите вокруг себя? Темно да рассвело. Слепцы! Вам поводырь нужен! Василий Григорьевич Перов просил меня в картине "Птицеловов" и "Охотники на привале" написать пейзаж, и я написал. - Он фыркнул пренебрежительно. - Хорош бы я был мастер, если бы грача мне написал Васька Перов, а я бы только лазурь и облака. Художник должен делать картину. Ты понимаешь, Исаак, что значит делать ее? Нет, ты поймешь после. Все русские пейзажисты одни этюды делают, а не картины. Картина это, мальчик, целое, общее, не одно зерно процветшее, а огромное поле, колосится, цветет, пыльцу над ним несет ветер. Надо всю душу вложить в картину. Всего художника в ней почуять. Нет этого, и картины нет. Р-ремесленники! Им сапоги чистить, а не картины писать. Они идут в искусстве вразвязку и враспылку!

Саврасов выронил из рук рюмку, вздрогнул от звона, переступил на осколках и уснул, уронив голову в объедки рубца.

## САЛТЫКОВКА

Левитану было восемнадцать лет. Но он столько перевидал в жизни неприятного и тяжелого, что чувствовал себя старше. Годы бедствий закалили его. При любых капризах судьбы молодой художник не утрачивал своей огромной энергии и в нем не погасал, а лишь разгорался жар художнического трудолюбия. Левитан был нечеловечески упорен, настойчив. Любовь к искусству охватывала все существо его, составляла в нем самое главное, самое важное, самое красивое и самое подкупающее. Он любил глубоко, затаенно, постоянно, никогда не остывая. Одни друзья знали, как был неистов и одержим молчаливый, сосредоточенный, внешне спокойный, полуголодный, бездомный художник.

Беда одна не ходит. На шестом году трудного обучения в Школе живописи, ваяния и зодчества Левитан оказался бесправным и гонимым.

Весной 1879 года, рано утром, в комнату, занимаемую замужней сестрой Левитана, вошел хмурый полицейский. Трое людей, разбуженных чуть свет, беспокойно поднялись. Такой гость не предвещал доброго. Полицейский вынул из-за пазухи разносную книгу в черном переплете, размотал длинный серый шнур, опоясывающий ее, вытащил из-под толстой корки бумажку и назвал хозяев помещения. Их было только двое, и полицейский подозрительно уставился на третьего. Он сидел на полу, на каком-то тряпье, служившем постелью.

Левитан ночевал у сестры редко, при крайней необходимости, когда все усилия его отыскать очередной ночлег были тщетны. Художник боялся стеснять родных. Сегодня он пришел сюда поздней ночью. Сторож из Екатерининского парка, где расположился Левитан на ночевку в глухом углу на сдвинутых двух скамьях со спинками, прогнал его. Художник едва уснул, как его и здесь потревожили.

Левитан спросонья разглядывал полицейского и ничего не понимал. Зато зять не растерялся, поспешно слазил рукой под подушку, щелкнул замочек кошелька, хозяин и гость пошептались, полицейский, крадучись, опустил руку в карман шинели, пошевелил губами и утратил всякое любопытство к художнику.

В тот год, после покушения Соловьева на императора Александра II, евреев выселяли из Москвы, и Левитан оказался вместе с зятем и сестрой и братом Авелем в Салтыковке по Нижегородской железной дороге. Лето стояло сухое и знойное. Художник задумал написать этюд облаков и долго не мог докончить его. Солнце всходило огромное, желтое. Оно целый день шло по ясной лазури. Ни одна тучка не пересекала пути его. Ночь почти не приносила прохлады. Теплая роса покрывала землю, отнимая надежды на завтрашний дождь. В воде, казалось, можно было спать. В Салтыковке задыхались от духоты, мечтали о холодном ветре и проклинали комаров. Левитан не желал ничего лучшего. Лето было его время. Чем больше солнца, тем веселее и радостнее. Свети, свети над зеленой землей, свети, незакатное, с утра до ночи, не погасай ни на миг! Юноша почти не бывал дома. Левитан хорошо понимал завет Саврасова и не просыпал солнечных восходов, не пропускал торжественного, полного величественной тишины летнего утра. Юноша вскакивал спозаранок, хватал свои художнические принадлежности и неслышно для домашних исчезал до вечера. Левитан так торопился, что забывал взять кусок хлеба.

Межа в поле была вся еще в серебристой росе. По ней шел свежий след. Бессонного юношу опережал бессонный рыбак, встававший до солнца, когда на утреннюю кормежку выходит из глубины озер, прудов и рек голодная рыба.

Левитан знал, изучил, высмотрел все вокруг, всякую ветку, рожицу, скудный подмосковный перелесок. На узенькой лесной тропинке, продираясь в зарослях, юноша видел, как впереди вспархивала какая-то тяжелая птица. Не просохший от ночной росы лес стряхивал на раннего пешехода крупные капли. Дул жаркий суховей, качались деревья, трепетала листва, и вся земля была в солнечных зайчиках. Солнце играло на воде, на изумрудных лугах, на зернистом песке дороги, в пыли, на высоких гульбых валах хлебов - всюду, куда проникало своими острыми золотыми стрелами. Художник глядел на окружающее восхищенно - так не сводят глаз с любимой.

Часы текли, точно неубывающая быстрая река. Левитан не замечал времени. Как будто бы оно остановилось для него и медлило пойти дальше.

Раз художник облюбовал острова озерной колючей осоки и огромное зеленое блюдо горошника между ними. Было раннее утро. Осоки и горошник только что вышли из тумана, легкого, как белый тюль, на них блестели слезинки крупной прозрачной росы. Она иногда капала на воду, и на спокойной, неподвижной глади ее появлялись тонкие кружки, набегали один на другой, сливались, расходились.

Левитан стоял на берегу, не сводя глаз с живописных островов. Юноше захотелось написать этюд с этого знакомого места, красивого сегодня как-то по-новому. У хозяев дачи была старая, никому не нужная, протекающая лодка. Левитан кое-как заткнул в ней щели.

Этюд осок и горошника увлек юношу. Он проработал над ним много часов и не заметил, что стоял в воде по щиколотку. Ботинки его были полны, разбухли и потеряли свой нарядный вид. Художник недавно купил их и ежедневно с вечера начищал до щегольского блеска. Юноша с трудом снял

ботинки. Они были тяжелые, точно камни. Наутро обувь ссохлась и не влезала на ногу. Пришлось верхнюю часть ботинок отрезать. Левитан с отвращением надел опорки.

Юноша ходил в Салтыковке полураздетый. Носил выцветшую красную рубашу. На коленях подрались брюки - латки уже не держались на обветшалом. Несчастье с обувью доконало его. Левитан прятался от дачников в укромных местах, куда никто никогда не заглядывал. Уединение ему было нужно не только для работы. Оно избавляло его от насмешливых и презрительных взглядов хорошо одетых и довольных собой людей.

Художник мечтал когда-нибудь одеться красиво и нарядно. Он видел себя во сне в дорогом костюме, в белой, как снег, накрахмаленной сорочке, а главное - в лакированных башмаках, какие носил молодой актер из богатой дачи на шестой просеке. Художник знал много стихов, воспевающих женщину. Он часто бормотал их, сидя за этюдником или скользя на лодке в камышах. Ему нравились все девушки в Салтыковке, но он не смел приблизиться ни к одной.

Солнце спускалось. Московские поезда приходили все чаще и чаще, подвозя дачников. Левитан жил недалеко от Никольской платформы. Здесь было шумно и весело. Сюда по вечерам собиралась на прогулку вся шикарная дачная публика. Женщины и девушки в разноцветных платьях, в шляпках последней моды, в вуалях, в белых башмачках, сопровождаемые молодыми изящными мужчинами с тросточками и хлыстами, говорливым, смеющимся потоком двигались взад и вперед. Улыбки, лукавые взгляды, смех... С радостными восклицаниями гуляющие встречали вновь прибывающих москвичей.

Люди сходили на платформу, нагруженные покупками. Несли торты в белых квадратных коробках, решета с фруктами, вина, цветы, свертки из гастрономических магазинов. Повсюду слышались звонкие поцелуи, оживленный говор, милый визг нарядных детишек, получающих подарки от матерей и отцов. Папы в разутюженных чесучовых костюмах вытирали розовые лысины надушенными платками, семена, подбегали к знакомым дамам и почтительно прикладывались к ручке. Дамы обмахивались веерами, которые распространяли по платформе острый тонкий запах дорогих духов. Бездельно, беспечно, отдыхая от зноя, наслаждаясь свежестью вечера, в привычном обществе прогуливались счастливые люди. И Левитану казалось, что только для них щелкали соловьи в соседних рощах.

Юноша не мог усидеть дома. Он тоже хотел радости, ему тоже хотелось кого-то встречать. Но как показаться на люди голодранцем, в опорках, в красной "разбойничьей" рубаше! Такой она ему казалась. Кто-то из озорных мальчишек, когда он торопливо проходил мимо одной дачи, громко назвал его вслед "Ванькой-ключником". Левитан вспыхнул и почти побежал. С тех пор он делал круг, чтобы обойти злополучный дом.

В девять часов вечера проходил последний поезд из Москвы, следовавший в Нижний Новгород. Дачники скучали по развлечениям и даже девятичасового поезда дожидались с волнением, пристально глядели вдаль, прислушивались к гулу, ошибались и нетерпеливо подгоняли время. Мужчины щелкали крышками часов, дамы удивленно поднимали брови, когда поезд запаздывал. И вот он появлялся, приветствуемый довольной и возбужденной толпой. Минутное, но высшее развлечение вечера наступало...

Левитан пробирался к Никольской платформе в сумерках и прятался за кустами. Отсюда он наблюдал "счастливую", роскошно одетую публику. Юноше передавалось общее ожидание. Наконец грохотал поезд, дрожала листва кустов, мимо неслись бешено разогнавшиеся, точно пляшущие вагоны, из-под колес вздымался поток едкой пыли, окутывая все вокруг. Левитан кашлял, закрывал лицо. Но что-то в этом проносившемся вихре было увлекающее, взбудораживающее.

Как-то в августе юноша расположился на обычном своем месте. Днем был ливень, похолодало, кусты роняли дождинки. Левитан сидел не шевелясь. Платформа преобразилась, стала неузнаваемой, новой. Женщины как будто обрадовались ливню и стремительно переоделись с ног до головы. Осенние костюмы представлялись художнику еще красивее летних. В обтянутых кофточках и длинных темных платьях, в шляпках с разноцветными легкими эспри и страусовыми перьями женщины были выше, стройнее, прекраснее.

Левитан продрог. Начинался небольшой ветер. С листьев капало. Скоро рубашка на плечах художника прилипла к телу. Юноша не уходил, будучи не в силах расстаться с красивой толпой, плавно двигавшейся по Никольской платформе.

Все лето встречал и провожал поезд Левитан. Привык. Знакомо и обычно было и появление и проводы, а сегодня почему-то вдруг начал он следить за его приближением с особым, более сильным и глубоким, чем всегда, чувством. Художник по-новому увидал и эти ослепительные три фонаря вдали, мокрые, блестящие рельсы, лужи, с отраженными в них огнями. Поезд промчался, сноп света словно надвое разрезал куст, открывая спрятавшегося юношу. В то время как бегущие вагоны закрыли от Левитана платформу, он уже вскочил и без оглядки пошел прочь.

Художник кашлял ночью, часто просыпался от кашля. Просыпалась сестра, вспоминала, что брат в августе ходит в одной рубашке, и безнадежно горевала. Рано утром, никому не сказавшись, она

поехала в Москву. Над Замоскворечьем еще висел плотный туман после вчерашнего ливня, когда женщина подошла к двухэтажному дому в Лаврушинском переулке.

Шторы были закрыты наглухо, в особняке спали.

Она подождала на улице. Павел Михайлович Третьяков появился у окна часа через полтора. Женщину ввели в кабинет, похожий на магазин, торгующий картинами, золоченым багетом и рамами. Они были всюду, загромождая проходы к маленькому письменному столу, за которым стоял худой, изможденный человек с пронизательными глазками. Женщина просила не за себя и была смелой.

Третьяков не слышал о юноше Левитане и переспросил фамилию. Он с любопытством и вниманием выслушал рассказ сестры о страданиях и бедствиях ее брата-художника, но в помощи отказал наотрез. И красная, возмущенная женщина быстро шла по Лаврушинскому переулку, довольная его безлюдием. Ей казалось, что всякий встречный прохожий по лицу понял бы, какой стыд она только что пережила в купеческих скопидомных хоромах. В ушах женщины звучал тихий, спокойный и приятный голос Павла Михайловича, которым он просто и прямо ответил ей, что никогда не помогает художникам за одно звание, а покупает у них картины.

Больше всего оскорбило женщину жестокосердие скупщика картин, каким в ярости и обиде представила она замоскворецкого купца, когда он, усмехаясь и подчеркивая, предупредил ее, что и картины он покупает не у всех художников и не всякие, а только одни хорошие. Целый день пробыла женщина в Москве, обходя квартиры знакомых людей. Она везде горячо описывала положение художника, его успехи и даже неудачу с ботинками. Как ни была возбуждена и всполошена женщина, она не могла не заметить неловких усмешек, с какими ее слушали. Собрала она мало денег и вернулась в Салтыковку неистовая, с пылающим, точно обожженным, лицом.

Пока сестра путешествовала, брата тоже не было дома.

После ливня накануне солнце взошло еще прекраснее. Зной упал. Зеленее, гуще, сочнее выступила из ночной темноты листва деревьев. Мир обновился, расцвел, запах, точно рокотала по нему огромная, высокая, благоухающая волна, Левитан жмурился от солнца, жадно дышал и глубоко втягивал в себя запах земли. Он любил ее в простом, скромном уборе первых дней весны, любил высохшую, изможденную от июльского зноя, любил пеструю, ветную, в богатом осеннем наряде, любил ее с грозными громами, торжественную, праздничную, омытую дождем. Сегодня она была такая особенная, вся в следах от расплесканного ливня.

Левитан пришел к озеру в мокрых опорках и усталый от тяжелых весел. Он нес их, перекладывая с плеча на плечо. Художник, напевая, отвязал лодку, сильно оттолкнулся - и сразу закричали уключины. Любимые осоки приближались, голос юноши крепчал, ночной кашель словно бы не смел беспокоить веселого, радостного, счастливого сейчас Левитана.

Юноша проработал в лодке далеко за полдень. Новую картину он назвал "Вечер после дождя". Солнце грело мягко, ровно, нежно, осоки защищали от чужих взглядов с берега, и Левитан снял свою красную рубашку. На ярком свете он писал сумерки, грозные, низко нависшие облака, между ними с натуры чистейшую, сияющую лазурь, зажег звезду и погасил, неуверенный, что она нужна в картине. В сумерках к Никольской платформе приближался девятичасовой поезд на Нижний. Трехглазый паровоз бросал столбы сильных широких лучей. Они прокалывали сумерки, нащупывали ближние кустарники, оживляли и заставляли трепетать их в белом переливающимся пламени. Платформа и рельсы, еще не просохшие от ливня, блестели, блестели лужи, купая в себе дрожащие разноцветные огни.

Вся картина была вчерне, в наброске. Художник любил свои незаконченные вещи с какой-то тревожной нежностью в душе. Так часто матери любят нерожденное дитя, толкающееся в чреве ножкой. Левитан испытывал полное счастье в уединении со своей новой картиной.

Вдруг очарование Левитана нарушили.

- Исаак! - крикнула с берега сестра.

Он не узнал ее, вздрогнул, мгновенно надел на себя рубаху и только тогда приподнялся в лодке. При виде сестры юноша вспомнил, что он голоден, что сегодня он вышел из дому без хлеба, который так вкусно и приятно есть на воздухе. Сестра махала руками и звала на берег. Этого никогда не было раньше. Художник встревожился. Он погнал лодку изо всех сил и не успел пристать, как сестра резко и насмешливо крикнула:

- Твой Третьяков - скопидом, купчишка замоскворецкий. Он сказал, что художники только те, которые попали к нему в галерею. Он посулил и тебя купить, когда ты напишешь хорошую картину. Я ему сказала - покорно благодарим за ласковые слова, но Исаак кашляет, он оборвыш, сегодня он ушел на работу без корочки хлеба...

Она всегда выпаливала все свои мысли залпом. Левитан опустил весла. Ему не приходило в голову к кому-либо обращаться за помощью, особенно к Павлу Михайловичу Третьякову. Юноша видел его на ученических выставках. Ученики разглядывали Павла Михайловича, как некое чудо, посланное художникам. Левитан знал, что одобрения Третьякова ждали даже Саврасов, Перов. Художник почувствовал сначала такой стыд, что закрыл лицо руками, потом в ярости начал гнать лодку к берегу, стремительно привязал ее к ветле, вышвырнул

весла, опорки, этюдник и новую картину. Сестра пришла в ужас. Она еще никогда не видала Исаака таким.

- Что это значит? - почти прошептала сестра. - Не сошел ли Исаак с ума? Не хочет ли он совсем утопить на дне озера и ящик с красками, и этюдник, и свою картину?

Левитан не дал ей закончить, подбежал вплотную с искаженным лицом и, запинаясь, проговорил:

- Ты меня унизила! Тебе торговать на базаре с лотка, зазывать покупателей, за полу их хватать! К такому человеку ты осмелилась пойти! Что он подумал? Вымогателем меня назвал, а не художником! Левитан рухнул на землю и разрыдался.

- Что я вижу! Что я слышу! - визгливо воскликнула женщина. - Я пришла к нему с такими новостями, а он вместо благодарности сравнивает меня с базарной бабой! Ну, Третьяков казался скрягой... Ну, а если бы я тебе принесла от него деньги в пакете? И ты завтра бы себе купил новые ботинки, две белые модные рубашки-"фантазии"? Плащ с золоченой застежкой? Тросточку со слоновым набалдашником? Что бы ты сказал тогда?

Левитан зажал уши и сквозь слезы безутешно бормотал:

- Какой позор! Когда он увидит мои картины, он вспомнит и... с презрением отвернется от них. Пришла и сказала замечательному человеку, что у нее есть брат... дряннь... попрошайка... ему не картины писать, а попрошайничать.

Левитан наконец прогнал сестру. В семье юноша не нашел поддержки. До поздней ночи спорили с ним зять, брат Авель - и сестра торжествовала, со смехом подбрасывая на ладонях деньги, которые ей все-таки удалось выклянчить в разных домах. Левитан сделал попытку разорвать несколько кредиток, его схватили за руки, он стиснул кулаки, скомкал деньги, их с трудом отняли.

Три дня он не разговаривал с сестрой, и она молчала. На четвертый день помирились. На пятый - художника ожидали дома любимые им ватрушки. Он покраснел при виде их, понял, на какие деньги испекли ватрушки, но от соблазна не удержался.

Картина "Вечер после дождя" была готова через три недели. Левитан сделал первую большую работу. Он переживал исключительный душевный подъем, словно юноша сразу вырос и возмужал. Несколько дней его совсем не беспокоили шаркающие по земле неуклюжие опорки, продранный локоть на рубахе, новая бахромка на брюках. Картина ему казалась совершенством, нечего поправлять, все на месте, все красиво и верно.

Покой потеряла сестра художника. Она решила картину похитить, продать Третьякову, запросив с него самую высокую цену. Неудержимая и самолюбивая женщина хотела добра художнику, но в то же время страстно желала доказать Третьякову, что не зря она была у него первый раз. Без раздумий наметила сестра день, в который поедет к Третьякову.

Он наступил.

Левитану нездоровилось. Но сестра встала сегодня с левой ноги. Он поскорее ушел из дому. Работать не хотелось. Юноша бесцельно катался по озеру. Когда не ладилась новая работа, всегда думалось о самой последней. Этим художник успокаивал себя, что в силах будет написать следующую. Остановка в работе пугала Левитана. Вдруг приходили мысли о неспособности, об отсутствии таланта. Юноша знал, что самая короткая передышка, когда он не брал кистей, вредна. Снова начинать трудно, не те краски видит глаз, не ту свободную, легкую, смелую линию проводят на холсте вялые руки.

Левитан попробовал побороть рассеянное настроение, остановил лодку недалеко от пристани, чтобы написать старую, склоненную над черной водой ветлу. Она не удавалась. Он расстроился, сильнее заболела голова, захотелось домой. Но там сестра не в себе. Он сосредоточился мыслями на ней. Утром сестра перешвыряла все вещи в комнате, не прикоснувшись только к картине "Вечер после дождя", не замечала ее, хотя она стояла у стенки на самой дороге и даже мешала ходить. Недовольной женщине было тесно вокруг. Одна рыжая кошка Васена пользовалась милостью хозяйки и могла даже безнаказанно тыкаться носиком в туфли.

Левитан все это вспомнил, и какая-то тревога уже родилась в сердце.

Дача была на запоре. На условленном месте не оказалось ключа. Юноша поднялся к окну и заглянул в комнату. Пусто. Картина исчезла. Левитан заметался. Для чего-то стал ломиться в двери, стараясь скорее открыть их. Понял, что это бесполезно и не нужно: всю внутренность дачи он видел. Юноша бросился на станцию. Мельком подумал о своих неприличных опорках и красной рубахе, но сейчас было не до них. Вдали послышался свисток поезда. Левитан ворвался на Никольскую платформу.

Сестра еще не уехала. Она увидела бегущего брата, спрятала за спину картину и, вся дрожа, закричала:

- Я ему утру нос! Я продам Третьякову лучше тебя! Я ему докажу, как невежливо не верить честным людям!

Она вцепилась в картину, высоко вздымая ее над головой и не отдавая.

Левитан пережил странный и болезненный стыд за свое произведение на народе, он почувствовал несовершенство работы, - не только везти продавать Третьякову, даже показывать неудобно.

Художник еле-еле отнял свою вещь. Брат и сестра тянули ее друг к другу.

Еще немного, и они бы разорвали картину: край подрамника уже вывалился. Возле собиралась улыбающаяся любопытная публика. Когда наконец Левитан одолел, сестра с горечью сказала праздным зевакам:

- Вы видали такого дурня художника? У него просят картину в музей, за большие деньги, а он таки не хочет и не хочет расставаться с ней!

Кто-то из толпы насмешливо сказал:

- На слово поверили... То-то одежда на нем добрая, заплаты некуда ставить. Такие молодчики завсегда без денег живут... На что им серебро и золото? Летом всякий кустик ночевать пустит...

Левитан кинулся прочь. За спиной раздавался громкий голос сестры. Оскорбленная за брата, она яростно бранилась с его обидчиками.

Разочарованный в картине, Левитан задумал продать ее. Зять достал в Москве для Левитана подходящую одежду. Художник облачился в неудобный мешковатый пиджак с чужого плеча.

На Покровке торговал старообрядец-антиквар Иван Соломонович Родионов. Умного и хитрого ловца неопытных людей, предлагающих старинные вещи на продажу, кто-то из шутников назвал Иваном Саламандровичем. Так это к нему и прилипло. Называли и сокращенно - Саламандра. Антиквар долго разглядывал картину, потом довольно усмехнулся и сказал:

- Действие происходит в Салтыковке. Я узнал. У моего зятя, шапочного мастера, там своя дача... Хорошее место Салтыковка... Сорок рубликов дам... Больше не стоит даже на любителя красот деревенской природы... Нажить, пожалуй, и не придется.

Сорок рублей! Левитан ехал я не помышлял о таких деньгах. Он вообще не знал, ни сколько картина стоит, ни сколько следовало просить за нее. Саламандра неторопливо отсчитывал и почему-то одними серебряными рублями. Художник невольно вслед за антикваром называл число. Левитан сунул серебро в карман и выскочил из лавочки, с растерянным лицом. Через два шага Левитан уже забыл о Саламандре. Художник помнил лишь, что тяжелое серебро оттянуло карман. Левитан решил на всякий случай принять меры предосторожности. Юноша выбрал уединенную скамью на Покровском бульваре, зорко огляделся вокруг и разложил деньги по всем карманам. Художник успокоился, предовольный своей хитростью. Едва ли существовал вор, умевший очищать четыре кармана сразу!

Левитан почувствовал себя богачом. Наконец-то неистовая сестра купила брату белую рубашку-"фантазию", приличные брюки и новые ботинки. Художник пошел гулять по Никольской платформе. Тросточка была самоделковая, из тяжелой черемухи. Юноша оставил на ней крепкую зеленую кожу, лишь кое-где тронув затейливой резьбой. Красивого молодого человека заметили. Он поймал на себе внимательные и нежные взгляды женщин. Одна нарочно задела его своим боа по лицу. Незнакомка покраснела ярче и гуще, чем художник, сбившийся с шага. Левитан испугался второй встречи и не рискнул идти обратно.

Ненавистные свои опорки юноша утопил с камнем в озере. Он с улыбкой смотрел на крупные пузыри, которые долго поднимались со дна. Потом в самом хорошем расположении духа гонял лодку с одного конца озера в другой, вылез на берег, растянулся в высокой душистой траве и лежал, напевая и насвистывая. Новая обувь немного жала, зато она щегольски обтягивала ноги, они казались изящнее, - юноша заказал купить ему ботинки на номер меньше.

## **СОКОЛЬНИКИ**

Серебряные рубли таяли, но юный художник верил в себя, хотел жить "самостоятельно", и он снял на Большой Лубянке меблированную комнату. Первую комнату в жизни. Теперь у него был собственный адрес, собственный диван, зеркало и умывальник. Левитан устроил новоселье. Сестра пила чай с любимым черносмородиновым вареньем и плюшками, брат и зять вместе с хозяином распили бутылку красного вина.

На другой день принялись за дело. Старший брат Авель, предприимчивый и ловкий человек, успевал учиться в университете и в Школе живописи, ваяния и зодчества. Он поставлял на магазины пейзажи, жанры, рисунки... Случился крупный заказ. Магазин Аванцо просил Авеля написать картину "Крестьяне Рязанской губернии за работой". Братья разделили труд: Исаак писал пейзаж, Авель - фигуры. С окончанием этой вещи было связано много надежд, и Левитан беспечно тратил свои серебряные рубли. Когда готовую работу Авель принес Аванцо, тот отказался принять ее. Художники еле-еле сбыли картину за пятнадцать рублей какому-то рамочному мастеру. Поздней осенью Левитан уже был должен за комнату. Хозяин вынес из нее диван и зеркало, передав их более аккуратному плательщику. Художник старался не попадаться на глаза кредитору. Но юноша переживал раньше и более тяжелые дни.

Как теперь ни приходилось ему круто, он неумоимо и настойчиво работал. С наступлением утра Левитан исчезал из Москвы. Все новые и новые этюды приносил он из своих странствований по подмосковным рощам, лугам, речкам. Он не знал усталости, изучая природу. Всякая новая встреча с ней

обогащала художника; он не удовлетворялся, не успокаивался, искал дальше и дальше. Он познавал ненасытно, страстно. Он чувствовал своеобразную, сложную, полную великих тайн жизнь природы, но еще не умел передавать ее, краски его еще были бессильны и мертвы линии. Левитан мучился. Он понимал, что еще косноязычен, что не овладел мастерством, без которого немислимо запечатлеть самое сокровенное природы. Не было для него ничего легче, чем изобразить пейзаж похожим. Тысячи художников удовлетворялись этим. Левитан морщился, отвертывался от своего "похожего" этюда, уводившего от подлинного понимания природы, такой этюд был только бледным сколком.

Иногда работа не шла. Левитан забирался куда-нибудь в лесную глушь, ложился на спину и подолгу, не отрываясь, следил за облаками. В тиши и уединении понемногу восстанавливались силы, опять хотелось работать, найти то, что до сих пор неуловимо ускользало. Ни в один час своей жизни Левитан не был праздным соглядатаем природы.

В ту осень Левитан писал в Останкине. Дули северные ветры, останкинские рощи уже много дней наклоняло в одну сторону, поток густой багряной и рыжей листвы не затихал ни днем, ни ночью, шумел, крутился и застилал хладящую землю шелестящими ворохами. Но казалось, так и не сорвут ветры красные и золотые одеяния леса. На десятый день вихря рощи еще не сквозили. На каждой веточке, пригибая ее, тяжелую и пышную, к зеленому долу, все лето рос неудержимый, молодой, свежий лист; рощи накопили его столько, что убывал он незаметно для глаза.

На одиннадцатый день Левитан пришел в Останкино ранним утром, едва занялась заря. Он не узнал знакомых мест. Рощи стояли новые, белые от инея, ветер стихал, но успел за одну ночь оголить деревья - помог первый заморозок, острый, колкий, разрушающий и неумолимый. Художник с досадой поворотил домой: аллея, которую он писал, неузнаваемо изменилась, хорошо, что накануне успел Левитан подправить на своей картине три низеньких деревца, росших по краю дорожки.

Вечером на Большую Лубянку заглянул Николай Павлович Чехов. Он был слегка под хмельком. Чехов заметил грустный взгляд хозяина и со смехом сказал:

- Знаешь, Исаак, я вчера познакомился в трактире "Колокола" с одним очень благообразным богомазом. Он пьет и не пьянеет, ругает постоянно водку, никому не советует пить и берется любого отучить от пагубной привычки. Однако секрет свой никому не открывает. Я случайно узнал...

Чехов вынул из кармана маленький пузырек, задумчиво постоял, хлебнул из него глоток, закашлялся и опрокинул все содержимое пузырька в умывальник.

- Спирт - плохое средство, - сказал он, мрачняя. - Больше не возьму в рот.

- Давай лучше пить чай, - предложил Левитан. - Я сейчас попрошу поставить нам самовар.

Николай Павлович согласился. Левитан вышел из комнаты. Чехов прошелся по ней, беспокойный, удрученный, бледный.

- У тебя чего-нибудь поесть найдется? - спросил он, когда Левитан вернулся из коридора.

- Немного осталось черного хлеба и полбулки, - ответил хозяин. - Я не хочу, а тебе хватит.

- Ну-у, - пренебрежительно произнес гость, - разве это еда. Это мне надоело. Я бы с колбаской, с ветчинкой, с буженинкой съел бутербродик. Я сейчас схожу и куплю. Сегодня мне заплатили за рисунки в двух юмористических журналах. Я, брат, крез. Черт с тобой, угощу. Твой чай, моя закуска. Он начал собираться.

- Нет, нет, - остановил его Левитан, - я сам. Давай деньги. Ты еще где-нибудь застрянешь, и у меня будет пустой чай.

Чехов подчинился, лукаво посмеиваясь:

- В плену, так в плену... Я человек слабый... Ох, хитрец! Догадался, что я к буженине прихватил бы кое-чего...

Гость засиделся. Хмель выдохся, и милый, любимый друг, живой, громкоголосый, остроумный, был приятен. Он рассказывал о своих будущих планах, с удовольствием вспоминал хорошо проведенное лето, в которое много работал, приготовил несколько новых вещей на ученическую выставку, рассчитывая произвести сильное впечатление. Левитан слушал, сочувствовал, одобрял, вместе радовался удачам товарища и сомневался в своих. Новую картину он показал Чехову не сразу.

- Что же ты, Исаак, скрытничаешь! - воскликнул Николай Павлович. - Угощаешь меня одними этюдами, а главное приберегаешь под конец. Обещаю тебе успех на выставке. Здорово ты подался вперед. Как ты хочешь назвать пейзаж?

Левитан всегда волновался, когда говорили о его вещах даже самые близкие друзья, в особенности же, если они держали их в руках. Близорукий Николай Павлович низко наклонился к пейзажу, и Левитану казалось, что товарищ непременно найдет много недостатков.

- Я еще окончательно не выбрал названия, - сказал Левитан нетвердо.

- Просто подписать "Пейзаж" - это скучно. Может быть, назову "Осенний день" или "Сокольники". Не знаю, право...

Николай Павлович поставил холст перед собой на свободный стул.

- Я бы тебе не советовал называть одним словом "пейзаж", - осторожно вымолвил

Чехов. - Такие определения ничего не дают, потом их вспоминают, закрывая глаза, и говорят: "какой-то пейзаж", "какого-то художника". Вещь обезличивается. По-моему, "Осенний день"

- хорошо. Конечно, совсем не оригинально. Тысячи этих "Осенних дней", а по существу верно.

- Тебе он нравится? - перебил Левитан. - Все в нем, по-твоему, в порядке или чего-то недостает?

Чехов ответил сразу:

- И нравится, и не совсем. Осенний день я не могу почувствовать вполне... Я догадываюсь... Принудительно догадываюсь... Раз на дорожке листва, по бокам стоят рыженькие деревья - все ясно: не весна, не лето, а осень. А вот осеннего настроения не воспринимаешь. Пейзаж не живет своей собственной жизнью. Мне кажется, по аллее надо пустить красивую одинокую женщину в черном платье. Я бы так и сделал. Будет центр картины: через это прекрасное создание я пойму, что осенний день грустен...

- Но ведь тогда пейзаж совсем перестанет быть самостоятельным, - недовольно пробурчал Левитан.

- Выбирай, что лучше, - ответил Чехов, - ты спрашивал, я сказал, твое дело решать.

Раз в году, на рождественских каникулах, с 25 декабря по 7 января, в Школе живописи, ваяния и зодчества бывали ученические выставки. Попасть на них могли только лучшие работы, и молодежь с трепетом дожидалась решения профессорского жюри. Выставку посещала "вся Москва". Газеты, захлебываясь, описывали вернисаж. Наряду с перечислением знатных особ, почтивших выставку своим посещением, мелькали фамилии юных, но будущих знаменитых художников. Их появлялось ежегодно слишком много, но иногда газеты угадывали. Левитан, Архипов, братья Коровины, скульптор Матвеев прошли через эти выставки.

"Осенний день. Сокольники" - так назвал Левитан свою выставочную картину - поместили очень выгодно, на хорошем свету, какой только возможен был на узкой Мясницкой улице, в полутемном старинном здании. Школе было лестно похвалиться талантливым своим воспитанником, и его произведение выделили на особую стену, среди самых интересных и отобранных.

Настал день вернисажа. Левитан проснулся еще затемно. От волнения его лихорадило. Он взглянул на свои руки и поморщился: они мелко-мелко дрожали. Юноша стиснул кулаки, и это не помогло. Левитан вспомнил, как прошлым летом в Салтыковке карапуз лет девятидесяти вылез из озера к сидевшей на берегу старухе и сказал: "Посмотрите, бабушка, как у меня нижняя губа трясется. Отчего? Я совсем не озяб, а весь дрожу". Бабушка засмеялась и велела внучку скорее одеваться. Левитан вспомнил, улыбнулся и закрыл рот ладонью - у него тоже вздрагивали губы.



Осенний день. Сокольники

Художник нетерпеливо подошел к окну. Пустая улица лежала еще в мутном полумраке, какой бывает только зимой. Не утро, не вечер. Сумеречное время тянулось долго. Левитану надоело ждать, пока наконец посветлело и стали появляться люди с поднятыми меховыми воротниками. Морозило, ранние пешеходы бежали почти вприпрыжку, пар струился из-под воротников, и края их серебрились инеем. Левитан зябко повел плечами, натянул на себя осеннее, вытершееся до основы рыжевато-пальто, закутался шарфом и вышел.

"Цирюльник Мокей Петухов с Малой Лубянки" - как значилось на вывеске - уже открыл свое заведение. Здесь давали на прокат маскарадные костюмы. Левитан долго рылся в грудах оперных боярских кафтанов, в черных одеяниях капуцинов, в камзолах щеголей, пока не отыскал подходящий скромный сюртучок, еще хранивший на рукавах и полах желтый воск от елочных свечей. Цирюльник Мокей Петухов разъяснил юноше, что сюртук брали, когда маскировались старым евреем из Бердичева.

- Вот он мне и пригодится как раз, - сказал Левитан. - Но нельзя ли вывести пятна от воска?

Цирюльник нахмурился, отрицательно махнул рукой и пробурчал:

- У нас берут костюмы нарасхват, какие есть. Нам некогда заниматься чисткой. Сами можете. Воск выводится просто. Раскалите на огне столовый нож, положите промокательную бумажку на пятно, можно и не промокательную, только дотронетесь, воска и следов не останется.

Левитан взял сюртук на один день, до вечера. Цирюльник получил деньги и потребовал для верности паспорт. Художнику пришлось сбегать домой и принести. Наконец костюм завернули в бумагу, и Левитан торопливо понес его. Цирюльник вдруг испугался за сохранность своей вещи.

- Пойдите, пойдите, - закричал он, останавливая юношу в двери, - я вас, господин, предупреждаю, не прожгите сюртук, вам придется заплатить тогда всю его стоимость, как за новенький-с.

На вернисаже больше всего неловко было Левитану за сестру. В семейной гордости за брата, она разрядилась так, что всем бросалась в глаза. Напудренная, с мушкой около рта, распаренная и пунцовая от жары, она подходила к Левитану и брала его под руку. Левитан дико осматривался по сторонам и осторожно старался освободиться от любвеобильной и тщеславной сестры. Доброй и наивной женщине было лестно и приятно показать свое родство с Исааком, и она крепко держалась за рукав прокатного сюртука. Юноша мучительно боялся, что от горячих ее рук останутся пятна, а Мокей Петухов беспощаден. Наконец Левитан не выдержал тайных своих мук и бесцеремонно вырвался из сестрицына плена.

Кроме товарищей-учеников, перед "Осенним днем" стояла посторонняя публика, среди нее назойливо вертелась беспокойная сестра и даже к ужасу Левитана затевала разговор с незнакомыми людьми. О чем она говорила, было понятно. Юноша горел от стыда, почти ненавидел восторженную и умиленную улыбку сестры, ее влажные, ласковые, сияющие глаза. Он только издали, через три комнаты, поглядывал на свой пейзаж. Друзья по мастерской Саврасова хотели показать товарищу какой-то недостаток в картине, позвали юношу, потом потащили, но он уперся и схватился за легкий выставочный щит. Левитана оставили.

Николай Чехов пришел на вернисаж со своим братом Антоном Павловичем, который нынешней осенью приехал из Таганрога и поступил в Московский университет на медицинский факультет. Братья заметили необычный наряд Левитана, лукаво усмехнулись; художник почувствовал себя неуклюжим в слишком длиннополом сюртуке. Николай Павлович таинственно отвел друга в дальний угол, где никого не было, подмигнул Антону и начал расстегивать пуговицы на груди Левитана. Юноша смотрел ошеломленно и не сопротивлялся. Николай Павлович широко распахнул сюртук. На черной шелковой подкладке, в рамочке, было вышито желтым несколько слов.

- Тавро гласит, - сказал Антон Павлович, близоруко прищуривая глаза и наклоняясь ближе:

- "Сия вещь принадлежит владельцу цирюльни на Малой Лубянке, Мокею Агееву сыну Петухову с сынами и дочерями К-о". Антон Павлович тихонько засмеялся. Николай Павлович рассыпался звонкой тоненькой трелью. Левитан поскорее застегнулся, стал давиться смехом и вдруг разразился им сильнее и громче обоих братьев.

- Дураки, - прокартавил юноша, - откуда вы все знаете? Я не видал этой надписи.

Прошу вас никому не говорить. Надо мной будут потешаться.

На вернисаж приехал вместе с московским генерал-губернатором Долгоруковым московский митрополит, разные знатные и сановные особы. Это уж было выше сил Левитана, и он спрятался в столовую к Моисеевичам, притворившись голодным. По неопытности он вообразил, что важные люди, едва взглянув на его пейзаж, почувствуют к "Осеннему дню" такую же нежность, какую к нему испытывал сам автор. Пораженные, они захотят его видеть, с ними придется разговаривать, и они, наверное, сразу сообразят, что на дебютанте прокатный маскарадный сюртук.

- Стой, куда ты? - удержал его Николай Павлович Чехов. - А вдруг тебя начнут искать?

- Он от этого и бежит, - серьезно сказал Антон Павлович и, подумав, добавил: - Зря торопитесь. Почти не случается так в жизни, чтобы молодых художников на руках носили. Нет, не читал и не слышал о подобных историях.

Давно отбыли именитые гости. Вслед за ними явился полупьяный Алексей Кондратьевич Саврасов. Он шумно прошелся по выставке, громко провозглашая отметки, которые бы поставил ученикам.

- Единица! - резко говорил он перед одним портретом. - Это же не художник, а пастух, играющий на самодельной дудке! А вот этому можно около трех назначить. Своего нет, так хоть чужие приемы маленько усвоил. Тьфу! - плевался он у других щитов. - Выставка должна быть гордостью училища, а тут как на развале у Китайской стены... Саврасов ничего не понимает или он понимает много, а такую дрянь надобно держать художникам по темным чуланам - кадушки с капустой и огурцами закрывать, нельзя тащить ее на белый свет. Стыдиться же людям надо!

Он двигался из комнаты в комнату, сопровождаемый неприязненными взглядами обиженных учеников-неудачников, а больше того ненавидящими взглядами профессоров, из мастерских которых вышли плохие вещи.

Левитан просидел у Моисеевичей и буйное шествие любимого своего учителя. Об отметке юноша узнал от Чехова. Когда художник вернулся на выставку, Николай Павлович весело сказал:

- Был старик... Шевелюра на боку... Глаза злые... Кое-кто из профессоров попрятался, а сторожа по знаку Перова изготовились... Пять с двумя минусами тебе поставил. Кричал: "Где Исаак? Почему ненужную женщину вклеил в пейзаж?" Вот тут пойми и разберись. Я тебе ее вписал, думал иначе нельзя, а выходит, я испортил и советом и делом. Мне за мой портрет отметки не было, но... черт, целовать меня принялся публично... Совсем Антона очаровал... Тот так за ним по пятам и ходил...

- Ч-чудной Саврасов! - воскликнул Антон Павлович. - Живой, горячий, умный! Когда смотрел его картину "Грачи прилетели", невольно подумал, что, наверно, такую вещь может написать только замечательный человек. Теперь вижу - не ошибся. Рад, что на вернисаж пришел. Один Саврасов того стоит. Ка-ак он энергично и прямо разносил всякую дрянь. Развесили ведь много же хлама. Право, как в плохой лавочке картин, где хозяин ничего не понимает в искусстве. Невежда просто скупает по дешевке все, что ни принесут. Он и за маляра и за гения платит по пятаку.

Незадолго перед закрытием, когда схлынула публика, один за другим приехали владельцы картинных галерей - Солдатенков и Третьяков.

Солдатенков обходил комнаты быстро, разочарованно качал головой и, к общему удивлению учеников, купил на последнем щите несколько заурядных и серых вещей. Им Саврасов даже не поставил самой низкой отметки, а только закрыл от них глаза руками и, дурачась, мелко перекрестил свою грудь. И сразу после отъезда Солдатенкова Николай Павлович Чехов сказал Левитану:

- Видишь, Исаак, как расправляется Солдатенков. Решил, что все-таки неудобно ничего не купить. Ну, напоследок и ткнул пальцем: забираю-де оптом, заверните. На будущий год давай просить совет профессоров, чтобы нас с тобой непременно повесили на дополнительном щите. Он солдатенковский. Хорошие поместим в первых залах, под псевдонимом, а сюда давай под полным титулом. Возьмут скорее.

Левитан вздохнул и одернул свой сюртук, тянувший в плечах.

- Как будто он сидит на мне не совсем хорошо? - тихо спросил Левитан.

- Я ужасно беспокоюсь. Так неловко ходить в костюме, не по тебе шитом. Я устал, и вернисаж мне надоел, лучше бы его не было. Чехов поправил левитановский сюртук и пошутил:

- Ага. Надоел! Это, брат, ты из зависти. Завистники всегда так говорят. Вон солдатенковские счастливы теперь собственные сюртуки могут купить...

Павел Михайлович Третьяков казался очень скучным, ленивым и нерешительным человеком. Он еле переставлял ноги, медленно переходя от одного щита к другому. Он подолгу стоял перед каждой картиной, отодвигался от нее, смотрел издали, вблизи, сбоку. Иногда Третьяков возвращался обратно к какой-нибудь вещи и задерживался перед ней дольше, чем в первый раз.

Левитан искоса следил за Павлом Михайловичем. Ученики притихли, наблюдая за знаменитым собирателем. Ни у кого не было особенных надежд на успех. Ученики понимали, как трудно попасть в галерею, расположенную в Лаврушинском переулке. Ученикам, однако, было приятно и лестно, что собиратель серьезно интересовался их работами, не жалел своего времени.

Левитан дрогнул и не мог больше смотреть на Третьякова, когда он остановился у пейзажа "Осенний день". Павел Михайлович не задержался здесь. Юноше даже полегчало: ждать нечего, картина не произвела впечатления. Братья Чеховы прекрасно поняли, что в это время происходило в душе Левитана. Вместе с ним они отвернулись от разборчивого Третьякова и завели какой-то посторонний, не относящийся к искусству, разговор. Левитан слушал, мало понимая и втайне тоскуя.

- Смотрите-ка, Исаак, - вдруг радостно сказал Антон Павлович, - а ведь этот Лоренцо Медичи из Замоскворечья опять поставляет перед вашими "Сокольниками". Послушайте, помоему, у вас клюет...

Левитан побледнел. По лицу его прошло такое страдание, что Антон Павлович испугался, предполагая у художника обморок. Чехов осторожно придержал юношу под локоть и невольно взглянул

в ту же сторону, куда были устремлены ужаснувшиеся глаза Левитана. Рядом с Третьяковым стояла сестра художника. Она что-то без умолку говорила, размахивала и разводила руками и почему-то несколько раз присела. Третьяков немного отодвинулся от женщины и молча кивал головой. Потом он повернулся по направлению к Левитану, на которого показала пальцем счастливо улыбающаяся сестра художника.

- Боже ты мой! Какое посмешище она из меня делает! - горько и отчаянно пробормотал юноша. - Который раз, дура, по-медвежьему старается вывести меня в люди!

- Полно, - успокоил Николай Павлович, - у хорошенькой женщины грехов нет. У нее даже глупость - достоинство. Что бы она ни наляпала, Третьяков будет только улыбаться и поддакивать. Смотри, она зовет тебя. Иди скорее. Я уверен, что Павел Михайлович покупает "Осенний день".

Женщине не терпелось, она перестала делать знаки брату и примчалась сама, стремительная, горячая, праздничная.

- Ах, какой ты неловкий байбак, Исаак! - прошептала она недовольно.

- Ты должен стоять около своей картины, а ты прячешься по углам, будто паук своей паутиной.

Левитан подошел хмурый, растерянный, хотел сунуть руки в карманы, в забывчивости пошарил по бокам и вспомнил, что был не в удобном своем пиджачке, а в этом проклятом сюртуке с одним карманом позади, где-то под болтающимися фалдами.

Павел Михайлович смотрел ласково.

- А я вас уже знаю, - сказал он, - с сестрицей вашей мы давно знакомы... Я слышал о вас... "Осенний день" мне понравился... Вам, кажется, восемнадцать лет? - неожиданно спросил Третьяков.

Левитан не успел ответить: за него поспешила сестра.

- Да, ему только, только восемнадцать! - громко и горделиво произнесла она. - Он у нас младшенький...

Несносный длинный сестрин язык не давал покоя. Художник в ярости, подчеркнуто грубо, еле владея собой, отстранил сестру и резко сказал:

- За тобой пришел муж... Он в вестибюле тебя дожидается. Иди скорее... Ты с утра на выставке.

Женщина зарозовела от обиды, больно ущипнула брата повыше локтя, но не забыла незаметно от Третьякова оправить братнин сюртук, потянув книзу разошедшиеся в стороны фалды. Третьяков простился с ней с плохо скрываемым удовольствием, взял под руку Левитана и усадил его на ближний диванчик.

- "Осенний день" я готов приобрести, - сказал Павел Михайлович, - давайте торговаться. Если не будете дорожить, сговоримся. Я заплачу столько, сколько пейзаж действительно стоит. Я купил много картин и немного научился, чтобы и не передавать художникам и не обижать их.

- Я знаю, знаю, - пробормотал Левитан, пораженный своей нежданной удачей, не способный в эту минуту даже думать о деньгах. - Вы, Павел Михайлович, назначайте сами.

Третьяков недовольно насупился.

- Нет, зачем же так, - протянул он сухо. - Художник должен знать себе цену, я никогда сам не назначаю.

Он внимательно всмотрелся в Левитана и понял, что придется сделать исключение: рядом сидел большеглазый, красивый юноша с алыми щеками, курчавый, мечтательный, его не было на земле, он где-то витал.

- Проведите меня в профессорскую, - попросил Павел Михайлович с усмешкой. - Профессора живописи цену деньгам знают. Они не продешевят. Пусть они от вашего имени торгуются со мной.

На следующее утро в Школе живописи, ваяния и зодчества у Левитана было больше завистников, чем друзей. Вздволнованный удачей, юноша ходил тихо, задумчиво, стыдливо опуская глаза, когда его поздравляли.

Алексей Кондратьевич пришел в мастерскую после трехнедельного запоя. Саврасов устало и расслабленно говорил, часто зевал, медленно передвигался от одной ученической работы к другой. Наконец он приблизился к Левитану и долго, молча трепал его по плечу.

## ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Картина Левитана висела в Третьяковской галерее. Молодой художник одержал большую победу. Она произвела сильное впечатление на всех близких к художественным кругам. Такие удачи с молодежью случаются редко в жизни.

Но кучке злопыхателей успех Левитана казался простой случайностью. Недоверчивые люди считали, что левитановский успех мелькнет наподобие ракеты, ослепительной и скоро гаснущей.

Дурные предзнаменования не оправдались. Вслед за "Осенним днем" юноша написал пейзаж "Осинник". Оказалось - художник пошел дальше. Пусть он почти повторил в нем останкинскую аллею и тот же треугольник неба вдаль, но уже не понадобилось человеческой фигуры для оживления пейзажа, он понятен, поэтичен, трогателен и убедителен сам по себе.

Левитан нашел средства выразить осень, унылую, хмурую, мокрую, в низких обнаженных деревьях осины, в напавшейся дождями, грязной, словно вспухшей земле. Юноша еще был связан школьными приемами работы - нельзя не поддаться им, имея учителями Саврасова и других выдающихся художников, а все-таки в "Осиннике" уже чувствовалась яркая самобытность будущего певца русской огромной равнины, ее лесов и перелесков, ее необъятных далей, низкого, часто заплаканного, как и левитановский "Осинник", серенького неба. Трудолюбивый Левитан не давал себя забывать. Каждый год на ученических выставках появлялись все новые и новые произведения художника. О них писали в газетах. Юноша с удовольствием читал рецензии. Сестра сохраняла газеты на память, очеркивая красным карандашом все, касавшееся ее Исаака.

Какие-то безвестные москвичи-любители покупали на ученических выставках дешевые картины. Николай Чехов работал в юмористических журналах, наспех иллюстрируя рассказы, стихи и повести разных авторов. Работа была срочная. Чехов не отличался ни упорством, ни трудолюбием Левитана. Ленивый, праздный, он больше говорил о работе, чем работал. Николай Павлович долго собирался весь отдать творчеству. Но начало новой плодотворной жизни почему-то откладывалось на завтрашний день, который так и не наступил за ранней смертью художника - в тридцать лет.

Чехов охотно делился заказами с Левитаном: пейзажи требовались и в юмористике. Художники делали совместные рисунки пером и в красках. Содружество художников бывало не только в заказных работах. В огромной картине Николая Чехова "Мессалина" Левитан написал небо. Чехов и брат Абель доставали заказы от художественных магазинов на Кузнецком мосту.

Известность молодого художника росла, но слава не кормила. Пейзаж требовал продолжительного, напряженного труда. Готовая вещь долго дождалась сбыта. Скупой и расчетливый покупатель приходил с десятью рублями в кармане.

Школа живописи, ваяния и зодчества средств имела недостаточно. Московские патриоты гордились своей частной академией художеств, аккуратно посещали ее в дни всяких торжественных юбилеев, вернисажей, чествований маститых профессоров, но денег на приличное содержание училища не давали. Тогдашний московский патриотизм щедростью не отличался, отечественные таланты поощряли ничем не стоящими речами на банкетах, на Третьякова смотрели как на выродка: все-таки суконный фабрикант занимался пустяками, приобретая за тысячи рублей картины. Профессора школы знали о бедственном положении многих учеников, но помочь могли мало.

Однако к весне 1881 года ученические работы Левитана настолько выделились, а бедность его так бросалась в глаза, препятствуя дальнейшему развитию молодого художника, что школа сама решила поддержать талант. С наступлением лета юноше предложили поехать на Волгу писать этюды. Казенный кошт почти обеспечивал. Художник довольствовался малым. Он узнал о неожиданном поощрении в минуту почти безнадежного отчаяния, измученный голодовками, недомоганиями. Левитан выбивался из сил, пришла тоска, уныние, разочарование. Меланхолия владела им по нескольку дней, мучительная, с ночными кошмарами, художник просыпался от удушья, порой думал о самоубийстве. Своевременная поддержка школы подняла дух юноши.

Левитан давно мечтал о поездке на Волгу, прочел о великой реке, кажется, все, что отыскал в Москве. Художник любил подмосковные места, они пробудили в нем столько вдохновения. Но наскучивает знакомое. В подмосковных местах мало воды, совсем нет огромной водной дали, бесконечного неба над ней, которое всегда представляется над большими водами и выше и легче. Все это было на Волге, - и она снилась юноше. Он хотел видеть русский простор, богатырскую реку, желтые пески и отмели, что тянутся из губернии в губернию, поперек всей страны, словно залежи никем не подбираемого червонного золота.

Почти накануне отъезда слегла сестра, так бурно и подчас неловко любившая своего Исаака. Врачи нашли у нее чахотку. Художник, не колеблясь, отменил поездку, забросил все свои дела, перевез на дачу в Останкино больную и горячо принялся ухаживать за ней. Едва она просыпалась среди ночи, разбуженная своим кашлем, брат уже поднимал голову и быстро вставал. "Волжские" деньги пошли на лечение. Порой Левитан испытывал беспокойство: надо было осенью держать ответ перед школой.

Молодость победила болезнь. Сестра проболела с месяц и начала поправляться. Она радовалась освобождению брата больше, чем своему выздоровлению. Они рассорились в первый же день, как только она опустила ноги с кровати и, покачиваясь, прошла по комнате.

- Довольно тебе лодырничать, Исаак, - сказала она укоризненно, - я уже в твоей помощи не нуждаюсь и не хочу заедать твой век.

Она была совсем еще слаба. Наперекор сестре Левитан просидел дома несколько дней. Он понял, что приносил вред. Сестра принадлежала к непокладистым натурам. Она раздражалась.

Левитан начал наверстывать утраченное время. Он нашел хороший выход, чтобы отчитаться перед школой. Поездка на Волгу не удалась. Но почему художник не мог изменить своих планов? Разве деньги ему были даны только на этюды волжских видов? А если он встретил в Останкине все, что ему недоставало? Тревоги рассеялись. Даже маленькая возможность не заботиться о хлебе удесятирила его энергию. Творчество природы никогда не оскудевает. В знакомых-перезнакомых останкинских рощах Левитан снова отыскивал неисчерпаемую сокровищницу мотивов. С того дня, в который жадно схватил кисть, он до осеннего позднего листопада не выпускал ее из рук. Сделал он так много, как еще ни в одно лето до этого. Свежие этюды загромождали дачу.

К большому удовольствию выздоровевшей сестры он сам предложил ей продать в Москве два-три из них, которых было не жалко. Сестра поехала и вернулась с торжеством, сияющая, нагруженная покупками, в новой соломенной шляпе, с флаконом духов для Исаака. Он очень любил резеду. Этюды купили знакомые. Неугомонная сестра художника еще до согласия хозяев развесила этюды на столе, возле двух приобретенных раньше, и громко, захлебываясь, сказала:

- Вы посмотрите - какая красота! Как они кстати вам! Как они украшают комнату! У вас уже будет пять, в то время как в Третьяковской галерее только одна картина! Исаак не захотел отдать Третьякову. Он подумал сначала о вас, о своих добрых знакомых. С тем меня и послал - показать вам наши новенькие этюдики. Боже мой, какие картины он будет скоро делать, какие картины! Если я хорошо продам, я увезу ему от Аванцо большой рулон дрезденского полотна, Исаак разрежет его, сажень так, сажень вот сюда, - она развела руками, - и подобьет на подрамничек, и кисточка его распишет холстинку так, как никому и не снилось.

Левитан встречал осень довольный, бодрый, с мозолями на пальцах - кисти оставили на них следы. В то останкинское лето он работал удивительно легко, все ему удавалось, художник разрешал в несколько дней живописные задачи, на преодоление которых в другое время требовался бы месяц. Так бывает в молодости, когда избыток сил, когда они переполняют удожника, рвутся наружу, он черпает в себе щедро, горстями, еще не умея отобрать самое необходимое и безупречное. Левитан как бы расплескивался, не знал удержу, стремился скорее освободиться от нахлынувших творческих впечатлений. Потом он привередливо осудил большинство тогдашних своих этюдов, найдя в них много горячности, даже страсти и мало той вдохновенной точности и скупости, технической умелости, без которых нельзя передать подлинное впечатление, пережитое мастером. Левитан давал его приблизительно, бегло, на ходу, не отделявая, не выделяя основного и решающего. Огромная работа в это останкинское лето принесла большую пользу художнику, техника его возросла, манера стала смелее, шире, глубже, он в несколько недель научился, как за год, учитель - природа - вполне заменила учителя Саврасова.

Левитан работал много как художник. Но еще оставалось свободное время, когда нельзя писать. Художник ненавидел всякое безделье. Левитан и сестра записались в библиотеку, чтобы книг привозить из Москвы на двоих. За лето он перечитал множество иностранных и главным образом русских поэтов, с которыми еще не успел познакомиться раньше. Память служила ему покорно. Почти без всяких усилий, на лету, Левитан усваивал сотни строк. Он иногда путал автора, но стихи знал наизусть, безошибочно. Художник любил декламировать их в полном уединении.

В глухих зарослях леса взлетала птица, заяц пересекал полянку, станицы журавлей встречал художник весной, провожал осенью В лугах кричали перепела: "пить-пойдем", "питьпойдем". Над озером, треща крыльями, со свистом проносились утки. Из зеленых осок выплывал грудастый селезень. Левитан подолгу замирал возле тетеревиных токов, прячась за деревьями. Лесная голубка ворковала где-то над головой юноши. И был сух под ним игольчатый настил, выступала смола из коры дерева, растопленная жарким полуденным солнцем, благоухало все вокруг цветами, пчелиным медом.

Левитан понемногу прирастал к охоте. К нему пристала кем-то брошенная в лесу молодая собака. Он выучил ее охотничьим премудростям, о которых вычитал в книгах. На книжном развале у Китайской стены дешево купил потрепанную знаменитую старую книгу Аксакова "Записки ружейного охотника". Левитан бывал в подмосковном Абрамцеве, где был написан пятьдесят лет тому назад этот труд, теперь многому научивший художника - начинающего охотника. Левитан читал книгу с таким же упоением, как любимые стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гете и Гейне. Старик Аксаков бродил в абрамцевских рощах, обдумывая страницу за страницей. Здесь же ходил Левитан, думая об отошедшем давно Аксакове. И оба они любили охоту, старый и молодой, оспаривая друг у друга первенство в увлечении и страсти к ней. Левитан чувствовал какую-то особую близость к книге Аксакова. Она была

как бы его собственной, родной, понятной от корки до корки, согретой знакомым огнем, затепленным в душе художника и профессией его и долгими блужданиями в непуганых местах, населенных птицей и зверем.

Останкинские этюды, сделанные взамен волжских, были разнообразны, вполне покрыли этюды с волжскими далями, песками, плотами, - и обе стороны остались довольны.

Левитан пробыл в Школе живописи, ваяния и зодчества семь лет, получил установленные школьными правилами серебряные медали за рисунок и этюд, окончил успешно натуральный класс. Больше ему нечего было здесь делать. Но для получения звания классного художника он обязан был еще написать картину на любой сюжет и тему по своему свободному выбору. Московская частная академия художеств гордилась этими своими порядками перед петербургской императорской Академией, где кончающие ученики связывались по рукам и ногам, исполняя картины только на заданные темы и сюжеты.

В начале зимы Левитан пересмотрел все свои останкинские этюды. Каждому из холстов была отдана частица души, делались только те мотивы, которые чем-то волновали. Надо выбрать лучший. Это оказалось трудным. Даже когда художник все ненужные поставил к стенке лицом и только отобранный постоянно держал перед глазами, то и тогда не покидали сомнения - удачен ли выбор, этот ли самый интересный и годный.

Левитан начал писать картину вяло, морщась, внутренне не чувствуя в ней надобности. Он бы и не взялся за нее для себя. Заставляла необходимость. Обязательная картина подвигалась туго. Но постепенно всякое принуждение в работе исчезло, художник увлекся и кончал ее с жаром. Он изобразил сжатое осеннее поле со сложенными на нем снопами хлеба.

Ненастный, облачный день хмуро повис над этой сельской житницей.

Левитан полюбил свою вещь. Ему казалось, что он далеко шагнул вперед, избавился от многих вольных и невольных влияний товарищей - братьев Сергея и Константина Коровиных, Светославского, самого Алексея Кондратьевича Саврасова. Кому из художников не дорого свое, выношенное, найденное, не повторенное с чужого голоса, и Левитан чувствовал себя удовлетворенным и чуть-чуть гордым. Спокойный и уверенный в предстоящей ему победе, художник с некоторым приятным тщеславием подумывал о том впечатлении, какое он произведет на школьный совет профессоров и на всех товарищей по мастерской. Левитан решил, однако, картину никому не показывать, пока ее не посмотрит самый близкий человек, мастер, учитель.

Алексей Кондратьевич Саврасов все реже и реже бывал в своей мастерской на Мясницкой. Прямодушный, резкий, вспыльчивый, беспокойная, ищущая натура, новатор русского пейзажа, знаменитый академик и несчастный запивоха, не умевший побороть пагубной своей страсти к водке, Саврасов был в тягость более уравновешенным и добродетельным профессорам. Отсутствие его радовало саврасовских недругов. Они давно уже желали его отставки. Они охотно выгнали бы его, смело расправились бы со всяким другим, но неловко и конфузно было поднять руку на прославленного художника. Всеми тайными и закулисными способами они побуждали Саврасова самого уйти из школы, без всякого скандала, мирно, по-обыкновенному и заурядному. Он посмеивался и шага этого из упорства не делал.

Тяжелую запойную болезнь Алексея Кондратьевича с болью ощущала его обширная мастерская. Она аккуратно собиралась в назначенные дни и работала без руководителя. Все чаще и чаще распространялись по школе дурные и тревожные слухи о гибели Алексея Кондратьевича. Правда и ложь сливались. И никто бы не мог разделить их. Саврасов после долгого перерыва в занятиях вдруг вбегал в мастерскую, горячий, торопливый, шумел, кричал, хотел наверстать сразу, с размаху упущенное. К концу дня Алексей Кондратьевич остывал, задумчивый, чужой всем, устало бродил по мастерской между мольбертами, что-то бормотал себе под нос, разводил руками, не замечая большой толпы притихших и жалеющих учителя учеников.

Однажды школу ошеломила грустная новость о Саврасове. Один из учеников его мастерской зашел на Сухаревский рынок. У прилавка торговца лубками, старыми книгами и рамками стоял, еле держась на ногах, без шапки, полураздетый Алексей Кондратьевич. Он продавал две небольшие картины, написанные красной, белой и черной красками. Букинист вертел их в руках, что-то отыскивая в правом уголке холстов.

- Вот! - резко сказал Саврасов и ткнул пальцем. - Я всегда подписываю сухаревский хлам двумя буквами.

- Правильно, - ответил торгаш, - вижу. Подписано А.С. Покупатель нынче придирчивый. Нипочем не возьмет анонима. Для вас хлам-с, для нас художество-с...

- Давайте скорее деньги, - перебил Саврасов, - я опоздаю купить водки, скоро запрут капернаумы.

Он, ежась от холода, хмурясь, следил за худой, костлявой рукой букиниста. Рука вынула зеленую бумажку, пальцы быстро отсчитали рубль серебром и медью. Художник покраснел, взъерошил волосы и громко крикнул:

- Ка-а-к, только по два рубля за штуку?

- Такая цена-с сегодня, - сухо ответил торгаш и засмеялся: - У нас, Алексей Кондратьевич, на Сухаревке своя биржа.

- Шесть рублей давай, - потребовал Саврасов. - Я с тобой улаживался по три рубля за экземпляр. Почему до сих пор платил, а теперь прижимаешь, виду моему обездоленному рад?

Сухаревец притворился рассерженным.

- Дороже не надо-с, - протянул он, - предложите в другую лавочку. Люди ведь торгуют разные. Одним деньги девать некуда, другим приходится скупиться, лишних нет.

Саврасов постоял, молча загреб с тарелки, не глядя, деньги и, не прощаясь, быстро зашагал прочь. Букинист снял картуз и раскланялся как ни в чем не бывало.

Случилось это незадолго до окончания Левитаном картины на звание классного художника. Кое-кто в школе смеялся над Саврасовым, остальные жалели учителя. Левитан несколько дней неотвязно думал о погибающем мастере, плохо работал, горевал о судьбе не первого и не последнего русского художника, упавшего в пути.

У Левитана был дагерротип Саврасова, подаренный ему в одно из посещений квартиры пейзажиста. В хорошую, радостную минуту жизни снимался Саврасов, молодой, сильный, цветущий. Ничто не обещало тяжелой, плачевной развязки. В эти дни печальных слухов о Саврасове подарок его стал как-то особенно нужен и дорог. Левитан поставил дагерротип на рабочий мольберт.

В метельный ноябрьский вечер, когда можно было застать Алексея Кондратьевича дома, Левитан позвонил у знакомой двери. Он не бывал здесь полгода. Кусок картона, прибитый к двери двумя гвоздиками со светлыми шляпками, какие употребляют для обивки мебели, очень изменился с тех пор. В квадрате, обведенном синей широкой каемкой, была тщательная надпись, сделанная красной тушью:

**Академик  
Алексей Кондратьевич Саврасов**

Теперь косо, на одном гвоздике, болтался лишь клочок бумаги. Слово "академик" было вычеркнуто резким движением черного твердого карандаша, который сломался, пробороздил поверхность и в ямке оставил крошку острого графита. Поверх замаранных чернилами имени и отчества во всю длину их Саврасов размашисто написал углем: А л е ш к а. Левитан узнал почерк Алексея Кондратьевича, и сердце ученика больно сжалось. На звонок вышла незнакомая женщина, неприязненно осмотрела посетителя, пустила в квартиру, усадила, а потом сказала, что хозяин не ночевал дома уже трое суток. Потом женщина быстро-быстро заморгала, зажала рот рукой и отвернулась. Левитан что-то забормотал несвязное, смутился своими словами и не знал, куда ему деваться. Женщина вдруг поднялась и сказала:

- Наведайтесь к нам завтра. Он редко пропадает на три дня...

Левитан поторопился на лестницу.

И во второй и в третий раз не застал Левитан Алексея Кондратьевича. И женщина раздраженно выкрикнула, стоя в полураскрытой двери:

- Квартира академика Саврасова это такое место, где он реже и меньше всего бывает! Ищите его по трактирам и трущобам, если уж он так необходим. Наверно, тоже знаете трактиры "Низок", "Колокола"... Там всегда пьянствуют художники. И старые и молодые. Она хлопнула дверь, снова высунулась и добавила со злобой:

- Нынче он, кажется, облюбовал трактир "Перепутье" в Петровском парке. Это далеко, люди кругом незнакомые, родные не явятся и не помешают.

Левитан принялся за самостоятельные поиски. Женщина знала трактиров меньше, чем их существовало на самом деле. Художник каждый свободный вечер обходил их десятками, забегал и днем в разное время. Саврасова знали повсюду, удивлялись, что он давно не был, и не могли указать, где загулявший академик.

Левитан почти ежедневно поднимался в мансарду Ивана Кузьмича Кондратьева. На хлипкой двери висел огромный замок, какими запирают хлебные амбары. Небольшая связка румяных баранок на мочале прикрывала замок, а на земле возле двери стояла нераскупоренная, красноголовая сотка водки. Кто-то явился сюда с выпивкой и закуской, не застал хозяина и оставил свои пожитки. Может быть, это был сам Алексей Кондратьевич. Левитан снова и снова осторожно ступал по темной лестнице к мансарде. Баранки сохли и чернели от пыли - никто не трогал, никого не было.

В конце второй недели замок сняли. Иван Кузьмич не удивился появлению Левитана и понял, кого тот искал.

- А Пуссен, плюс Шишкин, плюс Саврасов, - пошутил Кондратьев. - Маэстро разыскиваете? Тю-тю, не найти. Гуляки праздные, мы попили довольно - пятнадцать дней зарю встречали шумно... -

Иван Кузьмич забыл стихи и выругался. - А, черт, какая стала скверная память! Впрочем, она мне и не нужна... Я могу читать по тетради...

Поэт Никольского рынка еще не совсем вытрезвился, находился в игривом настроении и рад был случаю побалагурить с неожиданным гостем.

- Не имею полномочий открывать пристанище моего знаменитого друга, - произнес он, -- могу сказать только одно: выпито было зело... Уж мы с Алексеем Кондратьевичем питухи опытные. Саврасов на пари с одним кутящим барином выпил бутылку коньяку через соломинку. Барина мы повстречали в кабачке на Балчуге. Рожа такая неприятная у помещика, круглая, тарелкой, толстые уши стоят по-ослиному, нос с ноготок, глаза по кедровому орешку... Амбиции зато целый кошель. Ну, его Саврасов на обе лопатки и уложил, дурака. Всю ночь нас угощал и удивлялся крепости Алексея Кондратьевича.

Иван Кузьмич по крайней мере час мучил Левитана, делясь с ним причудливыми приключениями, какие происходили с бедным Саврасовым в несчастные дни его запоя. Наконец Кондратьев достал из-под кровати стеклянную банку с мочеными яблоками и, надкусив одно, предложил Левитану другое:

- За величиной не гонитесь. Маленькое меньше растет, скорее созревает - значит оно желтее, спелее - и вообще аппетитнее.

Только сейчас художник сказал, зачем он искал Алексея Кондратьевича.

- Интересно посмотреть, - произнес с любопытством Иван Кузьмич, - а вдруг вы из художников художник? Правда, едва ли... Нет, отчего же, - сейчас же поправился он, - это я сам себя оспариваю. Один глаз у меня на восток, другой под шесток, как говорится в народной поговорке. Вас всегда Алексей Кондратьевич одобряет. Похвалу Саврасова получить не легко. Значит, шагнете вы широко, если... если не сопьетесь...

Левитану была приятна похвала Саврасова, даже переданная этими полупьяными устами.

- Даю слово пить в меру, - ответил Левитан улыбаясь.

- То-то! - воскликнул Иван Кузьмич. - Вы поняли мое предостережение. Берегитесь этой сорокаградусной заразы. Гадость, гнусь, смерть... Ни один художник на свете не создавал в пьяном виде хороших произведений. - Он помолчал, подмигнул лукавым глазом, и с усмешкой продолжал: - Разве мы с Саврасовым? - Кондратьев глубоко задумался. - Да Вы написали картину... Вам нужен Алексей Кондратьевич. Хорошо, я скажу, где он. Но с условием - никому ни гу-гу. Особенно домашним Саврасова. Они сразу придут, будут звать домой, заплачут. Алексей Кондратьевич и сам разревется. Тогда он смирный, послушный, его можно вести за руку, как маленькое дите... Саврасов у Сергея Ивановича Грибкова на вытрезвлении.

- Это кто такой?

Иван Кузьмич сел на кровати, осуждающе развел руками и горячо заговорил:

- Воистину замечательных людей не знают в России! Да он же бывший ученик школы на Мясницкой. Грибков из Касимова на Оке. Мещанин был, бедняк. Школу окончил с бубнами и литаврами. Славу ему все сулили. А пришлось держать собственную живописную мастерскую, церкви расписывать, дом купил у Калужских ворот. Домина большой, о двух этажах. Полон всякой нищеты - прачек, мастеровых. Никто Грибкову денег за квартиры не платит, а он никогда не спросит сам. Так и живут, посмеиваясь над добрым хозяином-чудаком.

В мастерской Сергея Ивановича шестеро мальчуганов-учеников. Они трут краску, на побегушках у мастеров, все делают по хозяйству. Это днем. А вечером Грибков ставит им натурщика. Никому не доверяет мальчишек. Руководит сам работой. Каждый вечер пишат натуры. По праздникам Сергей Иванович для учеников и мастеров вечеринки устраивает. Чай, пряники, орехи. Водку и пиво не допускает. Сергей Иванович в дружбе с художниками - Невревым, Шмельковым, Пукиревым, Саврасовым... Алексей Кондратьевич вытрезвляется там.

Левитан услышал грустные вещи о Саврасове. В последний запой Алексей Кондратьевич явился в грибковскую мастерскую в рубище. Когда нигде больше не давали в долг, а буфетчикам в трактирах, для которых он рисовал все, что закажут, за водку и закуску, надоело художество, он пропил с себя костюм и остался в одном нижнем, еле прикрытом какой-то рванью. Холод и голод привели его в гостеприимное и дружеское пристанище к Калужским воротам. Сергей Иванович обнял старого товарища и повел его в комнаты. Грибков поклонялся его таланту, и появление Саврасова в таком виде как бы накаляло давнишние чувства. Алексей Кондратьевич молча, покорно, ни на кого не глядя, подчинялся всему, что с ним делали. Грибков кликал ученика-мальчика и отправлял гостя в баню. Провожатый тащил под мышкой тяжелый узел с бельем и платьем Сергея Ивановича. Подстриженный, нарядный, возвращался Алексей Кондратьевич и начинал новую, трезвую жизнь.

Грибков не знал, как скрасить саврасовскую скуку после запоя, кормил художника на убой, укладывал на пухлые перины, развлекал вечеринками с гармонией и гитарами, вкладывал ему в руки кисть, стараясь увлечь работой - этим могучим испытанным средством от всякой человеческой тоски. Но пристально смотрел умоляющий косой взгляд Саврасова на своего восхищенного почитателя, прося его

лишь глоток водки. Сергей Иванович был неумолим. Алексея Кондратьевича опаивали баварским квасом, кислыми щами, содовой, зельтерской.

Левитан разыскал дом Грибкова. Художника ввели в столовую. Алексей Кондратьевич пил кислый багровый клюквенный морс, до которого был большим охотником. Грибков делал его как-то особенно, никому из домашних не доверяя ответственного производства. На столе стояли два пузатых огромных графина с этим вытрезвительным напитком. Саврасов неловко зашевелился на своем стуле, перестав есть и пить, недовольный, что убежище его было открыто. Левитан это понял и застеснялся. Он поторопился объяснить Алексею Кондратьевичу причину своего появления. Саврасов опросил у Грибкова:

- Можно ему принести картину сюда?

- В любой день и час, - ответил Грибков. Алексей Кондратьевич повернулся к Левитану и сказал:

- Кстати, не один я буду смотреть картину. Пусть она пройдет через грибковскую мастерскую.

- Много чести, много чести, - довольный, зашумел хозяин, - мы ведь со святыми угодниками возимся. Пейзаж у нас только условный. Горочки, деревца чахлые, зелень скупая... Где ж нам учеников Алексея Кондратьевича контролировать, мы богомазы...

Саврасов зажал уши и сказал Левитану:

- Не верь ему. Сам оканчивал курс в Школе живописи на Мясницкой, позднее премию получил за картину "Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем". У меня и памяти нет, а вещь эту до сих пор помню. Шумела. Завистники ее обступали гурьбой и помалкивали.

Грибков безнадежно махнул рукой и с болью сказал:

- Что вспоминать времена plusquam perfectum (давно прошедшие). Прошли без следов всяких.

- Для кого как, - не согласился Алексей Кондратьевич. - А Общество любителей художества забыл? Кто там за исторические картины сорвал несколько первых премий? Ох ты, богомаз хитрый!

На другой день Левитан принес свою картину. В кабинете Сергея Ивановича за зеленым ломберным столиком играли в винт Саврасов, хозяин и двое каких-то незнакомых людей.

Грибков нарочно затевал игру, чтобы проиграть Саврасову, иначе бы он не взял помощи. Алексей Кондратьевич недолго посмотрел картину, взял мелок, которым записывал выигрыши и проигрыши на сукне, и на исподе левитановского пейзажа написал: "Больш. серебр. медаль".

- Одобряю вполне и категорически, - сказал Грибков, - ученик того стоит.

Вдруг один из винтеров, самый старый, сухонький, с маленькими живыми серыми в крапинках глазками, резко проговорил:

- А я нахожу, что картина немного вымучена...

Грибков нашел в картине столько достоинств, что Левитан со страхом поглядывал на Саврасова. Сергей Иванович кричал об учениках, побеждающих своих учителей, приводил в пример Жуковского и Пушкина, ссылаясь на "жизнеописания" Вазари и закончил:

- Алексей Кондратьевич был бы счастлив покориться своему ученику, произойди такая история. Кто любит воем сердцем искусство, тот иначе и рассуждать не смеет. Без этого искусство развиваться не может. В искусстве было бы тогда лишь количество, а не качество. Неужели вы думаете, что позади нас все уже сделано великими художниками, а впереди остались одни подражания и доделки. Не согласен. Я приветствую каждого юнца, который будет в силах поколотить стариков. Полушки не дам за подражателя. Это - дым от сгоревшего полена.

Саврасов рассеянно рисовал на зеленом сукне елочку, пушистую, осыпанную снегом. Алексей Кондратьевич едва ли слышал и половину яростного спора.

- Ну, давайте же играть в винт, - вдруг произнес Саврасов, - я чувствую себя в ударе и хочу обыграть вас всех. Особенно содержателя рулетки Монте-Карло у Калужских ворот Грибкова...

Он взял снова лавитановский "Осенний день над сжатым полем", повернул оборотной стороной и поставил мелком жирную точку после слова "медаль". Грибков захлопал в ладоши.

- Вот это точность! - воскликнул он. - Забытую точку всегда надо ставить!

Левитан понес свое произведение домой окрыленный, бодрый, горячий. Он всю дорогу боялся стереть мел на обороте картины и часто осматривал – цела ли была дорогая подпись учителя.

Утро следующего дня началось с разочарований. Левитан принес свою вещь в школу. В профессорской был один Перов. Он оглядел Левитана, пейзаж, прочел саврасовскую резолюцию и удивленно спросил:

- Это... кто же расписался? Не узнаю почерка... А, Саврасов Алексей Кондратьевич! Сразу не сообразил. Ну что же... Оставьте... Скоро соберутся остальные профессора... Я покажу.

Левитан торопливо пошел к двери.

- Слушайте, Левитан, - позвал Василий Григорьевич. - Разве Алексей Кондратьевич был в мастерской? По-моему, Саврасов исчез месяца полтора назад.

- Я видел его вчера, -- ответил Левитан.

- Он... в полном здравии? Он работает дома? Он не говорил, когда пожелает на занятия?

Вы его любимый ученик и...

Вопросы задавал Перов таким тоном, что Левитан с тоской почувствовал, как Саврасова не любили в профессорской.

- Я не знаю, - вяло ответил Левитан, - я не спрашивал. Да и неудобно мне у Алексея Кондратьевича спрашивать о том, что меня не касается.

Перов поймал летучий неприязненный взгляд ученика. Василий Григорьевич был обидчив. До сих пор он ценил Левитана и свое нерасположение к Саврасову не переносил на юношу. Но сейчас чувства этого саврасовского любимца проявились столь открыто, что Перов не сладил с собой и на злой укоряющий взгляд молодого человека ответил таким же. Левитан вышел.

Перед концом занятий художник подошел к профессору Прянишникову. Тот сразу тяжело вздохнул и сказал:

- Да, да, я видел, но только мельком. Первое впечатление неважное... Впрочем, иногда это и обманывает, надо привыкнуть к вещи, вглядеться в нее, тогда вдруг побеждает одно хорошее. Это мое личное мнение. Я не знаю, как другие думают. Я часто остаюсь особняком...

Левитан слушал. Все это было неправдой. Прянишников лгал, смотрел куда-то вдоль коридора, кому-то замахал рукой, обрадовался случаю и убежал. Левитан проходил мимо профессорской. Из нее выглянул Евграф Сорокин и спрятался.

Через неделю поздно вечером Левитан подошел к дому Грибкова. Оттуда доносилась музыка. Это Сергей Иванович развлекал своих мастеров и учеников. Художник вскарабкался к высокому окну и заглянул внутрь помещения. Алексей Кондратьевич сидел в глубоком кресле рядом с Грибковым и наблюдал за танцующими. Саврасов был весь внимание, весел, светел и радостен. Грибков косил на него лукавый, умный свой глаз, и по лицу устроителя танцев скользило полное удовлетворение: он доставил хорошие минуты не только своим иконописным помощникам, а и почетному, дорогому, несчастному гостю, удачно проходившему искус вытрезвления.

Левитан протиснулся к учителю. Саврасов, бегло окинув подходившего взглядом, равнодушно сказал:

- Картину "Сжатое поле" не признали достойной медали...

- Откуда вы знаете? - удивленно вырвалось у Левитана.

- Не трудно догадаться, - угрюмо проворчал Алексей Кондратьевич. - Саврасова хотят заставить подать в отставку...

- А Саврасов сам ни за что не подаст, - хмуро и резко выпалил Грибков. - История старая: всегда и повсюду выживали из всех учреждений казенной России людей выдающихся. У них горб, мундир на них надет неправильно, пуговица пришита не на том месте...

- Одну картину не признали, другую будете писать? - недружелюбно спросил юношу Саврасов, - чин классного художника нужен? Без чинов в России не проживешь?

Левитан вспыхнул, гордо посмотрел на учителя и ответил:

- Нет, вы не угадали, Алексей Кондратьевич. Если бы меня даже имели право заставить это сделать, им бы не удалось.

Алексей Кондратьевич заулыбался, усадил Левитана рядом с собой, вынул из кармана горсть орехов и пересыпал их в карман ученика. Казалось, мир и согласие охватили встревоженную было душу Саврасова. Левитан заметил, что зато Грибков находился далеко не в прежнем беззаботном расположении духа. Часов в одиннадцать ужинали в столовой.

Грибков наклонился к уху Левитана и шепнул:

- Никогда, молодой человек, не приходите дурным вестником на праздник. Вы очень взволновали Алексея Кондратьевича.

Левитан низко наклонил голову к тарелке. Он неуклюже резал на ней телятину, нож соскочил, и по чистой, добротной, белее сахара льняной скатерти с мелкими розанчиками широко расплескался рыжий соус.

- Подливка у нас к телятине злая, - сказал Грибков со смехом, - а еще злее прачка Федосья. Федосья за свой долгий век на практике удачно испробовала много домашних средств против всяких пятен на белье. В прошлую пасху разговелись, пошли в кабинет курить, все оставили как было. А у меня есть кот, зовем - отец Питирим. Очень на одного знакомого архиерея походит. Кот на пасхальный стол вскочил и набезобразничал. Вся скатерть стала разноцветная. Федосья шутя справилась. Принесла не скатерть, а пелену снежную.

Сергей Иванович несколько раз добродушно с Левитаном чокнулся - словом, ужин продолжался без всякой заминки. Алексей Кондратьевич захотел видеть отца Питирима, и шустрая девушка принесла огромное, белое, с длинной шерстью, точно у полярной лайки, ленивое, зевающее существо. Саврасов

взял его на колени. Отец Питирим ткнулся мордочкой в серую жилетку Алексея Кондратьевича, свернулся пушистой, густой муфтой и начал мурлыкать. Почему-то это так умилило Саврасова, что на глазах у него появились слезы, и он судорожно погладил кота.

- Отец Питирим, - крикнул Грибков, - сделай головкой, ну, сделай головкой.

Кот поднялся, разумно посмотрел на хозяина и стал обеими своими пышными щеками тереться о жилетку Саврасова.

Кота хотели поддержать все гости, и он переходил из рук в руки. Саврасов следил за движением животного, нетерпеливо дожидаясь, когда оно снова попадет к нему. Левитан заметил, что Грибков всячески поощрял интерес Саврасова к животному, рассказывал про него десятки его смешных и вредных проделок.

Алексей Кондратьевич слушал одним ухом, рассеянно и механически гладил отца Питирима, савраевские кудлатые брови угрюмо нависли над злыми глазами. Вдруг Саврасов волнуясь голосом сказал:

- Сергей Иванович, дай мне одну рюмку водки...

Грибков быстро и злобно взглянул на Левитана, которому под этим взглядом стало нестерпимо неловко, досадно и обидно за себя.

- Одну... не больше... Не дашь? - в голосе Саврасова слышалась угроза. - Устав в монастыре у Калужских ворот не позволяет?

Щеки Грибкова зарозовели. Он подсел к Саврасову, попытался его отвлечь, заигрывая с котом. Но Алексей Кондратьевич раздраженно спихнул отца Питирима с колен. Тогда в свою очередь Грибков резко и твердо сказал:

- Я в своей квартире водки не держу. Левитан почти дрожал от возбуждения, ожидая, что Саврасов встанет и уйдет. А он неожиданно посмотрел робко, повертел в руках винную ягоду, откусил от нее и медленно, вяло, скучая, принялся жевать.

После ужина танцы продолжались. Левитан собрался уходить. Грибков холодно простился с ним и сказал:

- Вот что вы наделали, видите? Сегодня ночью или завтра, в самом лучшем случае на днях, Алексей Кондратьевич незаметно исчезнет. Впредь обдумывайте свои поступки, когда имеете дело с больными людьми. И надо было вам торопиться с вашей... неудачной картиной!.. Лягнули Саврасову, что на него плюют в школе. Пусть бы он сам в этом узнал. - И Грибков почти крикнул на Левитана: - Вы же еще раз напомнили, что Саврасов погибает! Он и без вас об этом думает! Никогда больше не ходите ко мне, длинный язык!

Левитан побрел понурый, виноватый, с ненавистью к своей школе.

Пока Левитан был у Грибкова, на улице совсем развезло. Дул необычный для зимы южный ветер, бурно таяло, точно в весенние темные ночи, когда пролетают из полуденных краев первые косяки птиц. Снегу почти не осталось, повсюду журчала и сочилась вода.

Левитан невольно подумал, что стояла любимая саврасовская погода, она когда-то возбуждала в нем бодрость и силы, Алексей Кондратьевич мог загнуть голову к небу и наивно поверить в возвращение улетевших птиц. Юноша шагал по лужам, ступил в глубокую колдобинку, окатил водой проходившую мимо старуху, не обернулся на бранный вопль ее; пронесшийся лихач забрызгал с ног до головы самого Левитана, - он ничего не видел, не замечал...

Саврасов покинул Школу живописи, ваяния и зодчества через год. К отсутствию его привыкли раньше. Алексей Кондратьевич почти не бывал на занятиях или приходил ненадолго, мрачный, под хмельком, с трясущимися руками, несчастный, - бывший знаменитый Саврасов.

В тот день, в который узнали об уходе пейзажиста, саврасовская мастерская не могла работать, ученики взволнованно делились своими чувствами, и не было ни одного ученика, кто бы бросил камнем вслед учителю. Левитан вспомнил все добро и внимание, какими баловал его Алексей Кондратьевич в течение нескольких дружных, незабвенных лет.

Николай и Антон Павловичи Чеховы, навестившие Левитана, застали его злого, в хандре и лени. Он валялся на растерзанной постели. Его оставила аккуратность, какою он славился. На полу был сор, разбросаны были кисти, книги. Левитан не находил сразу слов для ответа, мрачно задумывался. Братья переглянулись и долго старались развеселить его. Но юноша не поддавался на все веселые и беззаботные шутки.

В память своего учителя, а также из личной обиды и упрямства Левитан решил не представлять в школу новой картины взамен забракованной.

Совет терпеливо ждал, уверенный, что никто не минует пути, по которому до сих пор шли все воспитанники частной московской академии художеств. Но этого не случилось.

Прошло три года. Ожидаемая советам картина не появлялась, зато появились другие; о них писали, говорили в обществе, росла известность Левитана. Молодого художника приняли передвижники на свою очередную выставку. Его "Вечер на пашне" повесили рядом с картинами школьных профессоров - передвижников. Всесильное тогда товарищество художников признало нового собрата. Для Левитана это

признание было важно и дорого. За "Вечером на пашне" последовала картина "Последний снег". Этот весенний мотив - остатки снега в рощицах, на склонах пригорков, на задворках - принадлежал не Левитану, был заимствован им у Константина Коровина, но был ближе душе Левитана, повторен им много раз и по-левитановски опозитизирован. Молодой художник начал говорить самостоятельным голосом.

Саврасовской мастерской повезло. На смену славному основателю ее пришел талантливый художник Василий Дмитриевич Поленов. Пять лет назад он написал картины: "Московский дворик" и "Бабушкин сад". Они восхитили современников, открыв им родную, близкую, интимную красоту чисто русского пейзажа. До Поленова никто так не видел, никто не изображал русских задворок и захолустья такими свежими, яркими, нежными красками, никто о таким теплым чувством не любовался обыденным и заурядным и тем не менее поэтическим.

Левитан не мог не понять, что в школу пришел достойный руководитель пейзажной мастерской, понятный и близкий ему своим творчеством, сильный и своеобразный колорист, каким не был Саврасов. Левитану было чему поучиться у Поленова. Прежде всего увидеть мир многокрасочным, сверкающим, как бы вечно молодым и вечно зеленым, чего еще не почувствовал молодой художник. Только из-за Поленова Левитан откладывал свой окончательный разрыв со школой. Он работал в мастерской Поленова с увлечением, невольно подпадая под влияние даровитого колориста.

Левитан пробыл при Поленове в школе около двух лет. Положение художника было неопределенным, неясным - не то он ученик, не то посторонний школе. Наконец совет устал ждать и разочаровался когда-либо получить требуемую по уставу картину от Левитана. В 1886 году Исааку Ильичу Левитану предложили: "За непосещение классов оставить училище и взять диплом неклассного художника". Левитан спросил, что это значит, и ему ответили в канцелярии:

- Вы имеете право быть только учителем рисования и чистописания.

Исаак Ильич засмеялся и на память взял диплом.

## САВВИНА СЛОБОДА

Под Звенигородом леса, заливные луга, пригорки, а с них открываются зеленые, кудрявые, красивые дали. Место это было известно издавна. Звенигород стерег древнюю Москву от пришлых недругов и завоевателей. Здесь звонили тревожно и часто в сторожевой колокол. При первых призывных ударах его ратные люди седлали коней, и быстрые всадники мчались к Москве, оповещая ее о приближении полчищ татар, поляков, продажных русских самозванцев. Страж Москвы делал свое нужное и полезное дело. Но место это служило и мирным целям. Его облюбовал и открыл еще царь Алексей Михайлович, отец Петра Великого, страстный и пламенный охотник. Лет через полтораста после него звенигородские края называли русской Швейцарией, и сюда летом стали наезжать художники для работы на открытом воздухе. Это были первые русские пленэристы. Тысячи художников тысячи раз любовались причудливой игрой красок в природе, которые зажигало и тушило живописное солнце, но все-таки следовали традиции, когда-то установленной.

Пейзажист семидесятых годов Каменев поселился под Звенигородом, в Саввиной слободе. Она расположена в глубокой зеленой ложине возле древнего Савво-Сторожевского монастыря. Построенный на высокой горе, весь белый, простенький, добротной архитектуры, выступающий из густых зарослей деревьев и кустарника по крутым склонам, монастырь был когда-то летней резиденцией царя охотника. Его недаром тянуло сюда. Эта царская подмосковная была очень красива.

Каменев приехал на лошадях. Весеннее бездорожье измучило его. В пути лопнула оглобля при трудном подъеме на обледенелую гору. Застряли среди безлюдного поля между двумя деревьями и простояли полдня, пока куда-то ускакал верхом ямщик за новой оглоблей. Он возвратился с ней, был пьян и еле-еле приладил ее к месту. Над Саввиной слободой стояла шумная, журчащая, рокошущая ночь - таяли снега, дорогу распустило, иода хлупала под колесами, из кромешной тьмы над головой струилась нудная дождевая пыль. Дождь начался, едва выбрались из Москвы на Звенигородский большак. Каменев вылез из телеги мрачный. Грязная изба, которую сняла для него за неделю раньше жена, еще больше расстроила его. Под низким черным потолком было неуютно, нище, промозгло. Каменев подумал, что такие бывают на скорую руку построенные из сырых бревен окотничьи сторожки в лесу.

- Двенадцатый век... - пробормотал Каменев, - пещерные люди жили немного хуже. Равнодушные дьяволы... Как бы ни жить, им все равно... Россия...

Усталый от дорожной тряски, он спал беспробудно, долго, наконец открыл глаза и увидел жену в беленьком нарядном фартуке, хлопотавшую около огромного самовара. Каменев зажмурился - так сверкало ослепительно, все в лучах, тысячами зайчиков, это начищенное медное чудовище. Красный кирпичный порошок высокой грудкой лежал на тусклом, в протеках, маленьком подносе. Его еще не успели привести в порядок. Оказывается, все на свете можно изменить. Пылающий на солнце самовар, горящие стекла в избе, даже грудка простого красного порошка из кирпича расцвелили убогое жилье художника. Вещи, милые вещи, они живут около нас и помогают принимать жизнь проще, теплее, радостнее. Каменев вскочил бодрый, нетерпеливый. Скоро он выбежал на улицу и, потрясенный, замер на месте. Художник был очень чувствительным. Глаза его увлажнились слезами.

- Ах, черт, никак не научусь сдерживаться, - прошептал Каменев, быстро вытирая лицо ладонями, - но ведь нет ничего удивительнее природы...

И действительно, казалось странным, что мир вышел из вчерашней непроглядной ночи таким ясным и светлым, весь дождь пролился, небо отражалось в лужах на дороге, в них плыли, покачиваясь, белые пушистые облачка, пролетали птицы, легким дыханием ветра несло перышко, уроненное только что протопавшим белоснежным гусем. Солнце зажгло огонь на всем стеклянном и металлическом. Миллионами искр сверкали стремительные полые воды извилистой Москвы-реки, гремучие ручьи малых и больших притоков, синие блюда весенних озер по оврагам, бочаги в черных полях. Вдали мерцало, как золотой уголь, яблоко на шпилье какой-то усадьбы, белой, с колоннадой, с зеленой крышей. Над Саввиной слободой летали голуби. Вдруг они делали острый поворот, как будто опрокидываясь на одно крыло. Тогда внезапно вся стая вспыхивала на солнце, становясь пурпурной. Каменев стоял улыбающийся, наивный и добрый.

Скоро у слободской околицы он водрузил широкий из парусины зонт, сел на складной стул и стал писать этюд монастырского пригорка. Около художника собрались саввинские ребята, притихшие бабы, мужики: такого еще не бывало в слободе. Но кто-то решил, что Каменев писал картину по монастырскому заказу. Художника больше не тревожили. Зонт ежедневно передвигался с места на место. Его видели над обрывом, у болота, на пыльной летней дороге, на задворках, у стогов. Каменев утратил свое имя. Слобода прозвала художника "белым грибом". Поклонник пленэра так полюбил Саввину слободу, что остался в ней навсегда.

Немного раньше несколько французских художников в поисках естественного

освещения при писании своих вещей обосновались в местечке Барбизон близ Фонтенбло. Белые зонты их, как каменевские в России, наблюдали в полях любопытные крестьяне Франции. Судьбы Каменева и французских пейзажистов в силу многих вещей были не схожи.

Каменев спился в Саввиной слободе.

Мужик, избу которого художник превратил в свою мастерскую, редко возил в Москву к Дациаро пейзажи своего опустившегося постояльца. Магазин Дациаро за дешевку скупал произведения талантливого, но беззащитного и беспомощного человека. Французские пейзажисты, работавшие в Барбизоне, вскоре прогремели на весь мир. Они получили прозвище барбизонцев и пленэристов. Барбизонцы открыли простую истину; ее чувствовали многие, но последнего слова до французов не сказали. Барбизонцы завоевали Париж, а с ним и мир. На полотнах барбизонцев появился настоящий национальный французский пейзаж, подлинная, неприкрашенная, мягкая, нежная и очаровательная природа Франции. И сразу стала приторна, еще более неестественна живопись, выходящая только из мастерских, не выдавшая подлинного света, воздуха, солнца. Барбизонцы открыли людям глаза на условность, искусственность эффектов и приемов старой академической живописи, на фальшивую черноту цвета в ней, какого в природе никто никогда не видел, так как его просто нет. Местечко Барбизон приобрело всеобщую известность, стало нарицательным. В каждой стране нашли свой Барбизон. Вслед за Каменевым в Саввиной слободе перебивало много художников, местечко считалось уже художественным поселком, русским Барбизоном.

Исаак Ильич Левитан в ученические годы часто бывал в частных картинных галереях Д.П. Боткина, С.М. Третьякова и К.А. Солдатенкова, собиравших западноевропейское искусство. Левитана главным образом привлекали пейзажи великих барбизонцев. Левитан, не отрываясь, смотрел на Коро, самого великого из барбизонцев. Он прочел все, что было на русском языке о Коро, пожалел, что не знал хорошо по-французски, запомнил недоступную ему пока книгу Руже Милле о жизни великого мастера. Левитан с жадностью расспрашивал В.Д. Поленова, бывавшего за границей, о Париже и особо о Коро. Поленов с улыбкой повторил несколько раз все, что ему было известно о главе барбизонцев.

Коро вспоминал и Саврасов. Коро стал любовью Левитана. Юноша с тайным удовлетворением уподоблял себя Коро. Они оба любили природу не просто, как любят многие, почти все люди, а с экстазом, упоением, наслаждением. Сокольники, Останкино, Измайловский зверинец, Салтыковка, да и все подмосковные, где жил, мечтал, работал юноша, казались ему своим родным Барбизоном.

В Саввиной слободе несколько лет подряд провели Коровины. Они так торопились из Москвы на этюды, что, кажется, в день окончания занятий отправлялись в деревню прямо из школы на Мясницкой. Возвращались Коровины загорелые, возмужавшие, обветренные, восхищенные летним своим местопребыванием. Левитан с завистью слушал бесконечные восторженные восклицания своих более счастливых товарищей: они могли ежегодно выезжать на этюды. Пока Левитану оставалось только мечтать о такой соблазнительной жизни. Талантливые братья привозили много новых, оригинальных по мотивам, сильных по ярким краскам произведений. Левитан видел, как была разнообразна, красива, богата природа под Звенигородом. В Саввиной слободе Константин Коровин первый из русских пейзажистов подсмотрел замечательный весенний мотив - остатки снега на задворках. Много художников повторило коровинский мотив. Левитан больше других.

Наконец Исаак Ильич собрался в русский Барбизон. Исключение Левитана из школы ускорило осуществление давнишней мечты. Он начинал самостоятельную, ни от кого не зависимую художественную работу. Ранней весной 1884 года вместе с художником В. В. Переплетчиковым он снял избу в Саввиной слободе.

И почти повторилось то, что произошло много лет назад с пейзажистом Каменевым. Новые обитатели прибыли в слободу также ночью. Недовольный Исаак Ильич долго ворочался, прежде чем заснул. Переплетчиков утешал его. Левитан старался превозмочь себя, боясь приступа своей тяжелой меланхолии.

Он встал прежде Переплетчикова, осторожно, на цыпочках, вышел, чтобы не разбудить товарища; болела голова, подымалась внутри тоска, цепкая и беспощадная. И все вдруг прошло.

День занимался не особенно благоприятный, облачный, с запада шла угрюмая, почти черная туча очень странной формы, вся в острых зубцах, с высокими башням, с флюгерами на них. Она походила на гигантскую крепостную стену, плывшую над землей. Под тучей виднелась колеблющаяся серая муть, точно вдали была снежная пурга, или шел весенний прыгучий дождь. На пути солнца лежали поля причудливых белых облаков. Солнце то пряталось за неплотной пеленой, пронизывая ее и делая кремовой, то выкатывалось на свободную голубую воду лазури, отделяющую одну облачную цепь от другой. Солнце светило урывками, и на земле менялись освещение, краски, предметы.

Левитан залюбовался рассыпанными по взгорью слободскими избами, как мог любоваться только художник, пейзажист, восторженный поэт открывшимся ему видением. Солнце как бы играло над Саввиной слободой, сейчас погружая ее в полусумерки, но через минуту она полыхала стеклянными рамами, розовыми соломенными крышами, цветными крылечками, наличниками. Дубовая роща около Савво-Сторожевского монастыря, черная, могучая, густая, была еще не одета.

Сосновый бор, примыкавший к ней, всегда юный, зеленый, казался пока богаче. И там все менялось от движения солнца.

У старожила Саввиной слободы пейзажиста Каменева был запой. Мужик-хозяин возил в Москву картины постояльца. Каменева грабил Дациаро, обсчитывал хозяин, откладывая себе от продажи за провоз сколько хотел, остальное пропивали вместе. Левитан пришел познакомиться со старым пейзажистом. Седое, кудлатое, толстое, бородатое, в дырявом халате существо недружелюбно выглянуло в полуоткрытую дверь. Исаак Ильич объяснил цель своего прихода. Каменев помолчал, оглядел с ног до головы гостя, вдруг как-то криво и нехорошо усмехнулся, а вслед за этим дверь медленно, нарочно медленно, стала закрываться, и ее заложили на крюк. Левитан с удивлением замер на месте, взялся было за скобу, хотел постучать - и раздумал настаивать на знакомстве. Тем более это казалось лишним, что у самой двери слышался шорох, там стояли и легонько посмеивались.

Изда Исаака Ильича наполнилась свежими этюдами. Они прибывали быстро. Художник писал с рассвета до самой темноты. Прошло месяца полтора. Однажды наконец Каменев вылез со своим зонтом в полдень, наткнулся в овраге на Левитана, удивился поклону незнакомого художника, прошел мимо, издали оглянулся и вдруг снял соломенную шляпу. Исаак Ильич весело засмеялся на чудачества старика.

Левитан жил в полном уединении. Никто не мешал ему, никто не бывал у него. С Переплетчиковым они встречались только по вечерам, расходясь с утра в разные стороны, да еще ненастье соединяло их в одной избе. Исаак Ильич старался переждать дождь в лесу, в поле, укрываясь под стогами, в сеновалах, под крутым речным берегом, где не тронет ни одна дождинка косо бьющего ливня. В Саввиной слободе, тихой, уютной, красивой, в ее далеких и близких окрестностях Левитану нравилось все. Он никогда еще так сосредоточенно и глубоко не думал над своим творчеством, над творчеством своих товарищей, старших, молодых, прославленных и никому не известных. Здесь ему стали еще ближе и понятнее великие барбизонцы. Они создали национальный французский пейзаж. У них следовало учиться техническому мастерству, больше того, упорному, непоколебимому стремлению к созданию национальной пейзажной живописи. Барбизонцы своим правдивым, искренним, реальным, тонким искусством укрепили в душе Исаака Ильича уверенность, что он стоит на прямой и правильной дороге, относясь так же, как они, к простому, без крикливых и парадных красок, скромному русскому пейзажу. Его как бы очень долгие замечали зоркие глаза художников. Условное, академическое, комнатное искусство не могло изобразить живой трепет листвы, тающий весенний снег, осоку в озере, пашни и луга при тех взглядах на изображаемое, каких оно придерживалось. Кто пришел после них, Тем стало легче. Перед самым отъездом в Саввину слободу в каком-то разговоре с Николаем Павловичем Чеховым Исаак Ильич спросил:

- Как ты думаешь, если бы я жил во Франции, к какому бы направлению я там принадлежал?

Они сидели в "Восточных номерах", где жил Николай Чехов. Антон Павлович был тут же. Он поправлял гранки какого-то своего рассказа, не вмешивался в разговор и расположился спиной к брату и гостю. Николай Павлович ответил шумно и быстро:

- Черт их, у них сто направлений! Да сколько мы еще не знаем! Куда бы тебя качнуло, угадать трудно...

- Как ты меня мало понял, - сказал грустно Левитан.

- А я думаю, совсем не трудно найти полочку Исаака, - неожиданно произнес Антон Павлович, не отрываясь от работы. - Мы медики, а и то наслышаны, за кем по пятам в Париже гонятся. Находясь в великом мировом городе, - протяжно, бесстрастно, как судейский чтец, продолжал Чехов, - голодный житель холодной мансарды меланхолик Исаак Левитан, прозванный барбизонцем, был бы одним из основателей этого художественного, то бишь преступного, сообщества...

Исаак Ильич довольно заулыбался и с особой нежностью посмотрел на сутулую спину напряженно работающего Антона Павловича.

- Коро! Коро! - воскликнул Левитан. - Какие краски он находил в природе! Как мудро умел писать! Мы не годимся ему в подмастерья. Разве подрамники делать для маэстро...

В Саввиной слободе Исаак Ильич бесповоротно понял, что в самом заурядном, незаметном мотиве можно глубже, ярче и правдивее передать типичное русского пейзажа. Теперь художника интересует псека, освещенная весенним солнцем, самодельные деревенские колоды ульев, деревянный ветхий мостик через ручей с отраженными в нем голыми стволами деревьев, вешний снег у сеновалов, улица в слободе с часовенкой и колодцем, - все интимное, скромное, смиренное, ничем не примечательное, пока художник не сумеет внести в изображаемое всю теплоту своей души, лирический трепет, пока не опозитизирует видимое.

Эти излюбленные левитановские мотивы были новыми в русской пейзажной живописи. Они увлекали целое поколение художников. Оно во сне и наяву грезило найти ключ к подлинному живописанию русского пейзажа, который наконец увидели, но каждый истолковывал по-своему. Изображение близкой, родной красоты оказывалось не таким легким и доступным. Левитан жил

окруженный товарищами, которые чаще всего произносили магические для всех художников его круга слова: "русский дух", "русские мотивы", "русский национальный пейзаж", "наше", "собственное", "русское откровение"... Исаак Ильич, не гонясь за поисками только ему одному принадлежащих мотивов, подхватил недоговоренное, в намеке, подчас ленивое и случайное, глубоко проник в него, изучил, развернул шире, исчерпал. Не так ли работают крупные люди, используя всю добытую до них руду. До них и для них.

В Саввиной слободе Исааку Ильичу принадлежали в избе три стены, завешанные еще не засохшими этюдами, Переплетчикову - четвертая.

Но и тут настигала Левитана непрошенная и незваная печаль. Тогда весь мир вдруг становился тусклым, неинтересным, даже раздражающим, руки не держали кистей, да и нечего было им делать - вдохновение отлетало, мозг спал.

Исаак Ильич трое суток проскитался где-то с ружьем в лесах. Перепуганный Переплетчиков отправился в Звенигород и заявил в полиции о безвестно пропавшем художнике. Пока там собирались его искать, он вернулся домой, бодрый, здоровый, с убитой уткой, немного припахивавшей. Три дня Левитан питался одними лесными ягодами. Он мечтал об утке за обедом. Переплетчиков понюхал ее и отказался есть. Исаак Ильич застрелил птицу в первый день своих скитаний. Хозяйка не пожелала готовить дохлятину, и охотник был очень огорчен.

Под смех Переплетчикова Исаак Ильич пошел в звенигородскую полицию с просьбой прекратить поиски здравствующего и нашедшегося жителя Саввиной слободы. В полиции могли не поверить, и он взял с собой хозяина. Тот удостоверил своего жильца. Оба они показались подозрительными, их задержали и посадили в холодную.

Переплетчиков прождал до вечера, почуял что-то неблагополучное и явился на выручку. Полиция была уже закрыта. Сторожиха в подоткнутой за пояс красной юбке мыла помещение. Холодная выходила в общую ожидальню для посетителей небольшим глазкомонцом, закрытым черной решеткой. Левитан окликнул Переплетчикова и успел сказать ему адрес квартиры пристава, который узнал раньше от сторожихи. Женщина, потрясая мокрой мочальной шваброй, отогнала Переплетчикова. Он кинулся к приставу.

- В общем порядке, - сказал пристав строго и внушительно, - я прибуду в присутствие завтра к одиннадцати и прикажу выпустить тех, за кого вы ходатайствуете.

Больше разговаривать не стал, не слушал резонов Переплетчикова, надвигался на него грудью и бесцеремонно теснил к двери.

- Между прочим, - вдруг хмуро произнес пристав, - надо бы и вас посадить, беспокоите меня вне служебных занятий да еще и на моей квартире...

Дверь в холодной отомкнули на другой день только к вечеру. Исаак Ильич вынужден был купить водки своему безвинно пострадавшему хозяину. Они вернулись домой уже в сумерках.

Левитан был безудержным, иступленным охотником. В Саввину слободу его манила не только художественная работа, но и охота. Недаром здесь жил царь-охотник двести лет назад. Леса помельчали с тех пор, человек уничтожил раздолье для зверей и птиц, разогнал стаи и табуны их, но всех не перевел, и Левитану осталось довольно и озер, и болот, и лесных зарослей, и дичи, и зайцев. Исаак Ильич почти скопидомно отказывал себе в самых еобходимых расходах, он не каждый день обедал и пил чай, за искусство его еще платили дешево... Он отдавал последнее своей охотничьей собаке - она никогда не бывала голодна.

Левитан-художник и Левитан-охотник неразделимы. Охота давала художнику новые богатые запасы художественных впечатлений. Когда, долго не обновляемые, они оскудевали, усталый художник брал ружье, собака виляла хвостом, неслась впереди хозяина вдоль слободы, навстречу дул желанный ветер с заливных лугов, пряно и сладко пахло у сеновалов на задворках, коршун плавал в синеве над лесом, высматривая жертву. Наставало приятное, заработанное, выстраданное безделье - отдых. Чем дальше от слободы, тем быстрее шагал охотник. Он почти бежал, не спуская глаз с покорной и умной собаки. Она у него знала счет до десяти. Исаак Ильич спрашивал:

- Веста, пять, восемь, три...

И собака лаяла столько раз, сколько следовало.

Левитан разговаривал с Вестой, как с близким ему человеком. Она смотрела удивленными своими преданными глазами, которые словно понимали все, что происходило с ее хозяином. Бормоча стихи, любясь лесной опушкой на закате, ромашкой и маками на уединенной полянке, заросшим прудом с колыхающимися при ветерке бело-желтыми чашечками неньюфар, вбирая в себя тысячи картин природы, Исаак Ильич переваливал с горки на горку, скрывался в осоках, камышах, в хлебном поле, ложась на меже и подстерегая легковерную птицу. Кажется, Веста уставала раньше. Она бежала около охотника, высунув красный, как кусок семги, влажный язык.

- Ах, Веста, Веста, - укорял и жалел Левитан, - ты много бегаешь. Собачий век восемнадцать лет. Год собачий равен пяти человеческим. Значит, ты все-таки проживешь до девяноста, а я, может быть, половину только...

Они много разговаривали, считали до десяти, забавлялись. Птица часто улетаала в недоступную высоту. Белый дымок выстрела опаздывал. Веста неслась на своих упругих, точно летучих ногах, возвращалась разочарованная. Ей некого было подбирать, даже искать.

Переpletчиков привык к уходам Левитана и больше не беспокоился за судьбу товарища. Веста прибежала первая домой и легла у крыльца, измученная, худая, с подтянутыми боками, с завивающейся, полупросохшей шерстью от долгого купанья в озерах и болотах.

- Хозяйка, - кричал Переpletчиков, - поставьте самоварчик. Охотничий конь прискакал - значит, всадник у околицы. Пить будет до седьмого пота.

В Саввиной слободе была поздняя осень. Великолепный убор звенигородских краев, пламенеющий, яркий, резкий, потухал. Надвигалось в природе то, чего Левитан не любил. Художник начал готовиться к отъезду. Одна осенняя охота привязывала Левитана к порядком надоевшей избе. Исаак Ильич пропадал дотемна. Оставалось немного пороку и дробу. И он решил все расстрелять.

Однажды пошел такой безнадежный, беспросветный, надолго дождь, что Левитан с досадой вернулся домой к полудню, промокнувший и озябший, из ружейного дула пришлось выливать воду, и Веста жалобно и горько скулила, дрожа и ежась. Только художник немного опомнился, как дверь отворилась, и в избу вошел в черном плаще с капюшоном Каменев. Он до сих пор, чуждаясь и сторонясь, кланялся при встречах, не произнося ни одного слова, и Левитан растерялся, увидев его у себя. На столе стояла тарелка со вчерашней холодной зайчатинной.

- Ага, охотнички, - сказал весело Каменев, - мы зайчиков покупаем, у них свои собственные. Под зайчика с чесночком очень приятно пить перцовку... Ч-черт ее, не могу объяснить почему. Смерть люблю зайчатину. Напрашиваюсь, напрашиваюсь, батюшка. Приглашайте скорее старика к столу.

Левитан засуетился. Чем-то неожиданно симпатичным, добрым, привлекательным повеяло от Саввинского дичка. Усадив его, Исаак Ильич помялся, покраснел и виновато извинился:

- Простите, ни перцовки, ни водки у меня нет...

Старик удивленно поднял брови.

- А... а зачем? - пробормотал он.

- Вы же... говорили... перцовку закусывают зайцем...

Каменев звонко засмеялся и нежно погладил Левитана по спине.

- Я, милый коллега, не всегда хлещу водку. Нынче мне ее насильно не вольете в рот. Я бы увидел у вас, не стал пить. Когда Каменев не в запое, он трезвость проповедует.

Старик с аппетитом съел почти всю зайчатину из тарелки, без умолку говорил, хохотал, смешил и даже пел старинные песни, которые теперь вывелись, а когда-то их пели в Саввиной слободе. Старик овладел Левитаном. Они не хотели расставаться и через три часа. Каменев осмотрел дотошно, молча, серьезно все этюды Левитана, альбомы с рисунками, быстро начал собираться домой, неловко надел свой не просохший за долгий день плащ и неожиданно обнял Исаака Ильича.

- Профессором будете, - пробормотал он вполголоса, - а нам... умирать пора.

Он всхлипнул, выскочил в сени, громко хлопнул дверью и побежал по гремящему полу на крыльцо. По грому дверей Левитан понял: старик не хотел, чтобы его провожали.

Через неделю Исаак Ильич уехал. Он нарочно трое суток бродил по полям, пока не убил зайца. Накануне отъезда художник пришел к знакомой каменевской двери. Попрошаться не удалось так, как представлял себе это прощанье Левитан. На стук старик опять приоткрыл дверь, в щель пахло сильно и резко спиртом, луком, глаза неприятно мигали. Молча Каменев просунул руку, выдернул зайца из-под мышки у Левитана и заложил крюк осторожно, потихоньку, чтобы не звякнул.

Наутро подали лошадей. Мужик-кучер перетаскал вещи художников, усадил Переpletчикова и Левитана, закутал грязным брезентом и только после этого снял шапку-вязанку и достал с донышка ее записку. Каменев дрожащей рукой написал Левитану на обороте отрывного календаря за вчерашний день:

"Зову вас в Саввину слободу на весну. Вы едете с сыном того ямщика, который когда-то привез меня сюда. Он и передаст..."

Левитан долго оглядывался на Саввину слободу, куда не скрылась за горой.

## **ГЛУХАЯ ЗИМА**

С мечтой о Саввиной слободе встречал Исаак Ильич зиму. До сих пор она бывала для него самым трудным временем года. Художник кочевал по меблированным комнатам, дешевым, неказистым. Безденежье гнало его из одной "меблирашки" в другую. Они были набиты битком. Везде окружал чужой, беспокойный, часто скандальный люд. Тихое искусство Левитана требовало деревенского покоя, тишины. Исаак Ильич работал, затыкая уши ватой, навешивая на дверь изнутри все, что у него было мягкого и приглушающего.

В тот год он обосновался в меблированных комнатах "Англия" на Тверской, прижился здесь, стал оставлять номерок за собой на лето, как это при скудных средствах художника ни стесняло его. В

"Англии" жило еще несколько необеспеченных живописцев. Среди них общий любимец Школы живописи, ваяния и зодчества талантливый анималист Алексей Степанович Степанов. В левитановской комнате по вечерам частенько собирались друзья его - братья Чеховы, Степанов, Переплетчиков, Шехтель, Нестеров, Константин Коровин.

Довольно большой номер с трех окнами на Тверскую, но с перегородкой для кровати и приплюснутым низким потолком мало походил на удобную студию. С узкой улицы свет падал скупо. В полях, за городом, еще продолжался светлый и ясный день, в "Англии" уже становилось сумеречно. Левитан пододвигал мольберт к самому окну. Здесь художник усидчиво проводил все светлые часы. Работу спасали летние этюды. Они вдохновляли как сама природа, сейчас недоступная сквозь замерзшее зимнее окно. Исаак Ильич создавал при жалком этом освещении свои лучшие картины. Антон Павлович Чехов называл жизнь Левитана в номерах "Англии" "английским периодом". Друзья художника охотно подхватили эту шутку.

Зимний день короток, его недоставало Левитану, слишком быстро наступало то время, когда краски переставали сверкать и гасли, словно потушенная лампа. Зима выдалась облачная, темная, по неделям стояла серая мгла, нельзя было взять в руки кистей. Исаак Ильич ходил между трех своих мольбертов с начатыми на них картинами и скучал от безделья. Художники жаловались друг другу на "убыточную" зиму.

Левитан год от году, чем становился совершеннее, работал медленнее. Он подолгу не снимал с мольберта новой вещи, прежде чем она не удовлетворяла его вполне. Передвижники часто обвиняли художника в "незаконченности" пейзажей. Передвижники возвращали Левитану некоторые произведения, не допуская их на выставки. "Незаконченность" была кажущейся. Левитан в картине стремился к обобщению, к гармонии всего. Отдельные подробности пейзажа могли и не выписываться до той "окончателности", по слову И.Н. Крамского, какая требовалась по взглядам на пейзаж передвижников. Редкий из них понимал, что проще отделать каждую деталь, чем выразить обобщенное.

Исаак Ильич "делал" свои вещи трудно, и бессолнечная зима стоила ему дорого. Антон Павлович Чехов приносил заказы на рисунки из сатирических и юмористических журналов "Стрекоза", "Будильник", "Зритель". Левитан был блестящим рисовальщиком. Ему охотно давали работу. Антон Павлович придумывал тексты под рисунками и самые темы их. В веселую минуту он позировал для рисунков Левитана и брата. Впоследствии Левитан написал хороший и сердечный портрет Антона Павловича. Чехову платили в журналах копейки за рассказы, еще меньше - художникам.

Исаак Ильич трудился, как поденщик, и не мог прокормиться. В поисках заработка он принял заказ написать этюд Москвы-реки с замерзшими в ней баржами у Краснохолмского моста. Левитан писал в сильные морозы, на ветру, плохо одетый и простудился. Болезнь нашла слабое место: с воспалением надкостницы художника уложили в лечебницу Кни. Потом близкие друзья перевезли его в номера "Англии". Художники Степанов, Нестеров, архитектор Шехтель, братья Чеховы попеременно дежурили у постели больного. Терпеливого и гордого Левитана болезнь сломила. Он громко стонал от невыносимой боли и оправдывался перед товарищами в своей слабости.

Когда Исаак Ильич поднялся, ему не на что было купить хлеба. Давно было занятоперезанто у всех. Шатающийся после болезни художник пошел в один богатый дом, где раз в неделю по четвергам принимали художников, писателей, актеров. Левитан пользовался "особыми милостями" хозяйки. Его допускали в "салон" среди немногих гостей, еще не успевших стать знаменитыми.

Был только вторник, и неурочное появление художника к обеду удивило. Но он принес несколько этюдов, как будто желая узнать мнение о них хозяйки. Польщенная любительница искусств вещей не купила, но Левитана из вежливости оставили "откусать".

Исаак Ильич протянул кое-как с неделю. Работа не ладилась. Художник явился на аукцион Общества любителей художеств с недоконченными вещами. Кроме выставок и частной продажи с рук, только здесь могли сбыть нуждающиеся художники свои произведения, сбыть за бесценок, при удаче - скоро, и Левитан рассчитывал на быстроту. Исаак Ильич приходил ежедневно справляться. Но вещи залежались. День на пятый художник покраснел и опустил глаза. Над частым посетителем улыбнулась молоденькая девчонка, дававшая справки.

На Арбате жил учитель рисования Ревуцкий. Левитан уныло пошел к нему, в ту отвратительную по воспоминаниям квартиру, которую приходилось посещать в самые безвыходные дни своей школьной жизни. Ревуцкий поденно нанимал молодых художников, задавая им тему картины. Делец пользовался большой известностью в мещанских и обывательских кругах, сбывая им дешевый товар. Поденщик-художник заканчивал свой безрадостный труд. Ревуцкий расплачивался, подписывал своим именем картины и отправлялся по невзыскательным клиентам. Вещи Ревуцкого висели во многих купеческих особняках, по трактирам, даже в борделях.

Левитан не работал у Ревуцкого уже больше двух лет. Упитанное сладкое лицо мошенника самодовольно засияло при виде знакомого художника, об успехах которого он знал из газет.

- А-а-а, - протянул он насмешливо, - я думал, вы забыли, в каком арбатском переулке проживает некто, спасающий художников от голодной смерти... Москва, ведь она неприветливая, черствая, скопидомная... Один Ревуцкий готов служить искусству.

- Давайте тему, - перебил его Левитан.

- Ах, что вы! - выкрикнул Ревуцкий манерно. - Ах, посмею ли признанному мастеру докучать подсказками! Да и подойдете ли вы теперь к моему ателье? Не знаю, не знаю... У вас свои почитатели, у нас, бедных, тоже свои... Впрочем... раздевайтесь... Предупреждаю; плата у меня та же. Может быть, вы задорожитесь? Вы же на пороге к знаменитости... А знаменитость, это значит куши, кушики, кушищи...

Левитан сказал резко и прямо:

- Платите - что хотите. Тему?

Он торопливо скинул свое пальто, размотал шарф с шеи и начал тереть руки, разогревая их с мороза. Ревуцкий задумался, поднял глаза на старинную хрустальную люстру и кстати правил на ней одну висюльку, выбившуюся из ряда. Исаак Ильич невольно подумал, что, наверно, чьими-то слезами облита эта люстра, попавшая от разорившегося человека в грязное гнездо хищника.

- Слушайте, - приказал Ревуцкий, - речка, на берегу домик, вокруг домика плетень, развешано разноцветное белье, сушится на солнышке, кругом лес... Ах да, по воде плывет лебедь с лебедятами. Это ходкий мотивчик у моих покупателей. Старушка с корзинкой идет по грибы от домика. За углом его, в кустах, молодая красавица обнимает и целует молодого человека, подстриженного горшочком... Понимаете, купеческий признак, домостройчик, намекс на сословие... Нанимаю на три дня. Размер - аршин с четвертью на три четверги. Да, да... Небо делайте фиолетовое, воду темную, у девицы-красавицы пышные груди, каравайчиками, чтобы из-под кофточки выпирали. Прошу к мольберту. Эй, Степка, - крикнул он прислуживающему в мастерской рыжему веснушчатому парню, - принеси господину Левитану из кладовой подрамник с натянутым холстом. Да осторожнее, гляди, дуралей, не продави холст лапой, как с тобой это бывает.

В конце третьего дня Левитан закончил картину. По привычке он чуть не подписал ее и, морщась, остановился. Заказчик мельком взглянул, стал искать свою кисть и недовольно забормotal:

- Какая несмелая рука! Никакого размаха! Вы раньше писали более подходяще. Вот я сейчас "пройду" по ней и все заиграет. Смотрите, молодой человек, что значит опытность.

Левитан не смотрел, испытывая страшную тоску и отвращение к развязному нанимателю. Художник невольно вспомнил продающего картины на Сухаревском рынке Саврасова. Сначала учитель, теперь ученик. Левитан получил деньги и опрометью бросился на улицу.

Он убежал не простившись, чего не следовало делать. Ревуцкий не забыл этого. Он любил почтительность. Когда нужда снова привела Исаака Ильича в знакомый переулок на Арбате, Ревуцкий сначала не узнал Левитана, потом попросил прийти завтра, на следующий день повторилось то же, и только пятый скромный визит удовлетворил прощелыгу.

- А что бы вы делали без меня, господа начинающие художники? - спросил этот нагло прищурившийся человек. - Я настоящий меценат, а не какие-нибудь там Третьяковы... Я даю работу каждому, кто хоть сколько-нибудь марать умеет. Попробуйте, господин Левитан, с картинкой прогуляться в Лаврушинский переулок. Знаете, как Третьяков составляет галерею? По с-п-и-с-к-а-м... Умные советчики угодных им художников переписали столбиком, в алфавитном порядке. Третьяков заглянет в эти святцы, вас там нет, ну, значит, не висеть вам в галерее, нос не дорос, приходите с бородкой, с чином, с газетными вырезками в карманах. А я... да я с улицы любого пушу и дам хлеба ковригу. Пишите-ка вы сегодня лунную ночь. Сад. В зелени павильон. Пустите какую-нибудь китайскую чертовщину для красоты. Над прудом скамья. На ней сидит барыня в белом платье, собачка рядом, на коленях возле скамьи стоит молодой стрекулист, умоляюще протягивает к барыне руки, а она собачку кормят сахаром...

Ага! Какова темка? Умеет Ревуцкий фантазировать?

- Я согласен на любой сюжет, - поспешил сказать Левитан, заметив недовольство на лице заказчика.

- Ах вы... неловкий! - воскликнул Ревуцкий. - Да вещицу такую с руками оторвет покупатель! Он ведь любит лунные ночи, любовные сцены, холодную барыню... Он ведь понимает, что холод-то напускной... Под платьем-то все горит... Ночью пришла.., Павильон сзади... Дверка туда гостеприимно открыта... Пожалуйте, милости просим...

Левитан взял кисти и смотрел в пол.

- А то валяйте под Шишкина, - не унимался Ревуцкий. - Вон висит с него копия моей работы. - Он показал на стену. - Лес, конечно, надо изменить. У него ели, вы на память катните сосны, у него медведи, вы напустите свору волков. Для эффекта под сосной поместите лачущую девочку лет десяти с корзиной, полной грибов. Пускай из корзины торчат навалом краснаголовые подосиновики, белые, рыжики. Покупателя в дрожь: волки-то ведь съедят младенца... Ха-ха. Покупатель ужасается, а нам деньги. Запузыривайте Шишкина. Вы пейзажист, значит, быстрее окончите вещь. Дешевле платить.

Тяжелая эта зима только к самому концу подобрела к Левитану. Можно было уже обходиться без "мецената" Ревуцкого. Этюды хорошо покупались. Исаак Ильич сумел даже скопить немного денег на лето. Но все чаще и чаще повторялись приступы беспричинной тоски, отчаяния. Левитану казалось, что так и не удастся ему достигнуть совершенства в передаче своих впечатлений от природы: она неуловима, недоступна, язык красок художника беден.

Жизнь утрачивала привлекательность для того, кто в искусстве находил смысл и цель существования. В один из чудесных весенних дней, которые так вдохновляли Левитана к творчеству, художника настигла беда. Он не справился с печалью душевной и пытался повеситься. Спасли друзья, следившие за слишком долго угнетенным художником.

Пережитое потрясение забыть было трудно. Левитан испытывал стыд перед самим собой, краснел при встречах с знакомыми. Слово боясь себя, почти не отходил от Николая Павловича и Антона Павловича Чеховых. Ближе этой семьи никого у него не было. Там верили в талант художника, любили его, берегли, Антон Павлович больше и лучше других.

## МАКСИМОВКА

Снег лежал еще чистый и нежный в полях, там еще ветер крутил серебряную поземку, сверкали миллионами маленьких звезд под стеклом крепкие насты, по кривым почерневшим проселкам ездили на санях, а в Москве снегу уже не осталось, несло едкую пыль, громыхала извозчичья пролетка, словно немытая с прошлого года. Левитан с отвращением проходил прокуренными коридорами "Англии", затыкал щели в дверях своего номера, - художник почти заболел каким-то особым обострением обоняния, вся Москва казалась ему пропитанной запахом тления, разложения, густым смрадом таяния.

Исаак Ильич наскучался по свету, по солнцу. В последнее время он ненавидел вечно сумеречную свою меблированную комнату. На одной из стен отстал огромный кусок сереньких замасленных обоев. Левитану казалось, что в номере стало светлее.

Однажды Исаак Ильич был в Измайловском зверинце. Грустный и растерянный после неудачного самоубийства, он приехал сюда вздохнуть весенним воздухом. В Измайловском зверинце точно бы сияло другое солнце. Исаак Ильич бродил долго, печаль не оставляла его, она сегодня действовала сильнее природы. Но в то же время он с наслаждением посидел на пне, уже высохшем после зимы, глубоко втягивал свежий, острый ветерок, что почти колотило лицо, как в небольшой мороз. Пели первые птицы - зяблики, малиновки. С треском и шумом вспархивала воробьиная стайка с полянки, где вчера паслась лошадь. Грачи носили в клювах черные веточки в гнезда, как у Саврасова на картине. Ворона каркала и оклевывала белую большую кость, недавно вытаявшую из-под снега. Все это знакомое, тысячи раз виденное умиляло и волновало. Он обошел стороной полянку, чтобы не вспугнуть воробьев, занятых поисками корма, с удивлением проследил за ныряющим полетом птички, какой еще никогда не видел раньше.

Вокруг все жило - маленькое и большое, красивое и безобразное, значительное и ничтожное. И Левитану стало легче переносить свою печаль. Сверх обыкновения, отправляясь в Измайловский зверинец, художник сунул в карман несколько бутербродов. Они подкрепили его.

И пришла ночь. Постепенно смолкло все живое. Куда-то исчезли и попрятались невидимо птицы. Они уже спали, не тревожимые людьми. Около полуночи из-за дальнего облака выкатилась луна. Меловой свет ее был тревожен, мертв и странен. Он прокрался в рощи и бродил в них, пугающий и беспокойный. Левитан почувствовал неожиданный страх. Одиночество стало ненужным и опасным. Вдруг холод пробежал по спине, минутный и острый. Исаак Ильич быстро зашагал к жилью. Тогда заперекликались в ближних и дальних окраинных домишках петухи. Снова повеяло на взбудораженного художника миром, покоем, мудростью жизни. Он вынул часы. Они отставали на пять минут. Левитан с улыбкой подвел стрелку к двенадцати. Время петушье было точно, как на курантах Кремлевской башни, и ему нельзя было не верить. В дождь, ураган, в кромешной мгле осенних ночей, в летнем полусумраке, всегда, всю свою недолгую жизнь кричит эта глупая и вещая птица, отсчитывая идущее вперед время. Левитан шел и думал об удивительности этого петушиного чутья.

Слух художника внезапно привлекли другие звуки, торжественные, клекочущие, зовущие. В лунном небе, как бы струящемся на необъятной высоте, Исаак Ильич с трудом разглядел темную тень, похожую на нос лодки. Временами она словно бы ныряла в облаках, как в волнах, течение сносило ее вбок, опрокидывало на ребро и топило. Потом она выплывала в стороне, прямая, остроносая. Левитан остановился, провожая взглядом ночных журавлей. Они летели в направлении Звенигорода, где Исааку Ильичу припомнилось обширное кочкастое болото, на котором он видел эту длинноногую птицу в прошлом году. Левитан пропустил быстро идущую лодку, смотря ей вслед. Скоро она стала появляться совсем неясно, на мгновение, точно махали темным флагом вдали и прятали его. Исаак Ильич пережил сильное возбуждение. Художнику захотелось скорее из Москвы, туда, в Саввину слободу, вдогонку за журавлями. Он возвратился около трех часов ночи в сонную и неприятную "Англию". Левитан спал спокойно, поздно вскочил с постели и, не одеваясь, принялся считать деньги, заготовленные на летнюю поездку в Саввину слободу. Скупое хватало. Начались сборы в отъезд.

Но так одними сборами все и кончилось. Опять Левитан стал бояться одиночества, наступление ночи пугало... Художник пожаловался Антону Павловичу. Чехов задумался и вдруг оживился:

- Знаешь, Левитан, тебе не надо ездить в Саввину слободу. Ты там уже был. Новые впечатления тебе нужнее. Проведи это лето с нами. Мы отправляемся на Истру, к городу Воскресенску, недалеко от Нового Иерусалима, в имение Бабкино. Кстати, истринские места - прямое продолжение звенигородских краев. Историки говорят, что патриарх Никон завидовал летней резиденции царя Алексея Михайловича в Савво-Сторожевском монастыре и решил найти среди подмосковных местностей такую же. Сто пятьдесят дьячков были посланы на поиски. Они на Истре и остановились. Пиши каждый сучок, они кричат, чтобы их написал Левитан. В самом Бабкине едва ли удобно тебя устраивать, мы сами гости. Ты поселишься в ближней деревушке. Будем каждый день вместе. Подумай и укладывай свои сейфы и несессеры. Мы скоро отплывем целым цыганским табором Чеховых.

Левитан, не колеблясь, ответил:

- Я готов отбыть сегодня же.

- Чудно! - воскликнул Антон Павлович. - Я рассчитываю, что мы весело проживем в Бабкине. Хозяева его - Алексей Сергеевич и Мария Владимировна Киселевы - превосходные люди, любят литературу, искусство, а главное, не чопорные, настоящие русские хлебосолы. Брат Иван Павлович репетирует киселевских ребятишек - Сашу и Сережу. Через него с Киселевыми познакомилась вся наша семья.

Левитан был рад побыть лишнюю минуту с Антоном Павловичем и стал расспрашивать его о Киселевых подробнее.

- Меланхолик, ты любопытен, как некоторые женщины, - сказал со смехом Чехов. - Они так и ходят с высматривающими глазами, выглядывают из калиток, из-за углов, бегут на всякий шум, как на пожар.

- Как будто бы, Антон Павлович, я не совсем такой, - возразил благодушно Исаак Ильич, - это ты, наверное, такую бабу сейчас описываешь в своем новом рассказе. Чехов прижмурил глаза и, не слушая, с увлечением продолжал:

- Они всегда страшные сплетницы, вруньи... Куда бы ни пошли, повсюду зацепляются языком. Муж всегда мученик у такого словоохотливого существа. Оно ему спать не даст. Оно разговаривает без умолку даже в некоторые щекотливые моменты нашего существования... Какая прелесть Мария Владимировна Киселева! Она хорошо поет, пишет в журналах, страстный, заядлый рыбак. Послушать ее рассказы о Даргомыжском, Чайковском, РоссиСальвини - объединение. Умно, тонко, хорошо, образно, тепло. Близко со всеми знакома. Ну, недаром она внучка знаменитого Новикова и дочь известного директора императорских театров в Москве Бегичева.

- Ах, это тот, - перебил Левитан, - про которого говорят, что с него писатель Маркевич в романе "Четверть века назад" написал героя Ашанина.

- Он. Вот познакомишься с ними и ахнешь. На Руси занятные люди рождаются иногда. Комната у него обставлена по-женски. Хороший рассказчик. Авантюрист по натуре. Недавно заполонил нас. До утра не могли уйти из его смешного бабьего будуара. Рассказывал о своих русских и заграничных путешествиях так, что впору Казанове позавидовать. Фигура презамечательная. Тебя Маркевич интересует? Прекрасно. Еще год назад тень Болеслава Маркевича бродила по парку в Бабкине. Он там обретался и писал роман "Бездну". Да что Маркевич! Мария Владимировна всех персонажей Бабкина интереснее. В нее был влюблен Чайковский. Она бы за него охотно пошла замуж, да он прозевал на ней жениться. Марии Владимировне в двадцать лет пришлось быть падчерицей знаменитой артистки Шиловской. Падчерица молода, красавица. Дом у Бегичева открытый для театральной и музыкальной Москвы. Все знаменитости запросто. Около молодой хозяйки не пройдешь. А около хозяйки, раза в два с половиной постарше, почти никого. Падчерице житья не стало. Однажды за званым обедом Мария Владимировна, обиженная мачехой, разрыдалась. Встала из-за стола и ушла к себе. За девушкой кинулся один из гостей - Киселев - и сделал ей предложение. Она его приняла. Следом за Киселевым ворвался в комнату Чайковский тоже с предложением. Отказала. Киселев веселый, светский муж. Земский начальник в Воскресенском районе. Племянник русского посла в Париже графа Киселева. Итак, ты на этих днях отправишься в окрестности Бабкина и снимешь там себе дворец. Помни, что кроме художественного багажа, ты должен захватить с собой удочки: будем удить окуней и плотву.

Левитан поселился в деревне Максимовке, выбрав самую нищую и дешевую избу горшечника Василия, горького пьяницы. Жена его Пелагея вечно ходила брюхатой, и летнее жилье художника переполняла стая ребятишек в восемь душ, одни девочки, худенькие, полуголодные. Пелагея звала жильца вместо Исаак - Тесак, и они подружились даже. Левитан большую часть дня проводил на этюдах в окрестностях Бабкина, встречался с Чеховыми, застревал у них до ночной поры и возвращался в свое горшечное заведение, как шутил Антон Павлович, часто под утро. Левитан был неизменным и непременным участником всех деревенских увеселений Чеховых и Киселевых. До его прихода в Бабкино их не начинали.

Вдруг Исаак Ильич пропал. Прошло несколько дней. Он не появлялся. Чеховы знали, каким пламенным и неудержимым охотником был Левитан, и отсутствие его объясняли просто - стояла дождливая погода, и художник увлекся охотой.

- Тем более понятно, почему он охотится, - сказал Николай, - в дождь работать не может, значит, бездельничает с ружьем и обучает собаку следующим действиям арифметики.

Один Антон Павлович встревожился.

- Так ли? - хмуро проворчал он. - Может быть, с беднягой опять творится что-либо неладное. Стрелок он ярый, но у него бывает какой-то психоз... Не наделал бы чего над собой... Взяли мы его сюда прогуливать да и забыли осторожность...

Антон Павлович подошел к окну и уныло стал смотреть на улицу. Лил дождь. Красивых бабкинских рощ на пригорках не было видно. Все застилал серый, противный, надоедливый ливень. Чеховы скучали во флигеле, Киселевы куда-то уехали, и дачники остались одни.

- Пойдемте к Левитану, - неожиданно сказал Антон Павлович, улыбаясь. - Не могу провести ни одного вечера без развлечений. Эти Киселевы приучили меня к феноменальному легкомыслию.

Вышли в больших сапогах, с фонарем, жалко светившим на два шага вперед. Шаткие лавы через Истру, измокшие, ветхие, скользили. Антон Павлович едва не свалился в реку. Перед Максимовкой было топкое болото, дремучий Дарагановский лес. Трудно пробирались вперед, озябшие, усталые. В черноте беспроекторной ночи Максимовка словно не приближалась к ним, а отступала дальше, не дойдешь до нее. До сих пор в Максимовке не бывали. Темную избу горшечника долго отыскивали, пока под ногами не захрустели битые черепки - след гончарни.

- Я думаю, ничего особенного не случилось, - сказал повеселевший Антон Павлович, - дрыхнет наш Левитан, усталый от охоты. В деревне не заметно никаких дурных признаков. Давайте огорошим художника неожиданностью. Идем прямо. Не стучите, не окликайте. Не войдем, а вломимся в избу.

Так и сделали. На спящего Левитана навели фонарь. Исаак Ильич, перепуганный, вскочил, выхватил из-под подушки револьвер и направил на нежданных гостей. Он держал его в дрожащей руке, и револьвер сильно качало. Чеховы хохотали. Левитан жмурился от света и ничего ясно не видел перед собой.

- Черт знает, что такое! Какие дураки! Таких еще свет не производил! - произнес Левитан, опомнясь, и тяжело вздохнул. - Игрушки плохие! Я уж хотел стрелять...

Он стоял на коленях на своем соломенном ложе; солома хрустела, черную избу тускло освещал фонарь с закапанными крупным дождем стеклянными створками.

Пелагея услышала шум в избе и втиснула в нее огромный острый живот свой, точно у нее под платьем была сахарная голова. Пелагея внесла ярко горящую лучину.

- Все благополучно, Пелагея, - сказал приветливо Левитан. - Это мои друзья. Хотите, поставим самовар? - обратился он к Чеховым.

- Ты бы лучше на печке нас посушил, - ответил Антон Павлович, - мы хуже водолазов. Вставай, пойдем к нам. Мы теперь, как библейские старцы опытные, знаем хорошо обратную дорогу и вмиг тебя доставим в Бабкино, у нас и поспишь после обильного ужина и винного возлияния.

Левитан колебался. Пелагея бывала в Бабкине у Антона Павловича. В деревнях прослышали, что он доктор, и повалили к нему со всякими болезнями. Чехов никому не отказывал в помощи. Пелагея подошла близко к Антону Павловичу и шепнула ему:

- Выйди-ко, доктор, в сенцы.

- Тебе не я, тебе бабка нужна, - ответил таким же шепотом Антон Павлович, взглянув на ее чудовищную башню.

Но Пелагея настаивала, и Антон Павлович немного погодя под каким-то предлогом оказался в темных сенях. Пелагея зашептала на ухо:

- Тесак-то сегодня в полдень стрелялся из ружья... Да, слава создателю, промахнулся... До того два дня валялся на постели, не вставая, не пил, не ел, молоко в крынке скисло, не дотронулся... Нам за такого чумного жильца не попадет? Не скажут, чего не уследили?

- Нет, ничего вам не будет, - угрюмо ответил Антон Павлович, - за чужую вину никто не ответчик. Он вернулся в избу, весело посмеиваясь.

- Добилась-таки своего Пелагея, - сказал Чехов, - схватила в темноте и пришлось класть руку на живот и дожидаться, когда толкнет ножкой младенец. Баба вообразила, что он у нее мертвый.

В Максимовне пробыли часа два. Антон Павлович весело шутил, острил, рассказывал смешные истории, выдумывал их тут же. Левитан молчал, отводил глаза в сторону, но в конце концов засмеялся. Тогда Чехов неожиданно переменял тон, сделав незаметный знак братьям:

- Ты, Левитан, думаешь, что нам нечего делать, и мы в такую погоду пришли только напугать тебя. Нет, ошибаешься. Дело у нас серьезное. Мы пришли тебя звать на жительство в Бабкино. Киселевы согласились отдать своим дачникам еще один флигелек во дворе, самый маленький. Ну, не совсем флигелек, Правда, бывший курятник, больше походит на сарай, но курной избы горшечника не хуже. Завтра ты переедешь к нам.

Николай, Александр, Михаил Чеховы переглянулись. Никогда не было даже разговора об этом сарайчике. О нем вспомнили только сейчас. Не говорил Антон Павлович, конечно, и с Киселевыми. На улице Антон Павлович объяснил братьям:

- Я Лейкину писал, что Левитан почти поправился после своей истории с неудачным повешением, да ошибся. Его под надзор надо, бок о бок будем держать. Хорошо бы ружье спрятать и отнять у него револьвер. Неблагонадежный художник. В избе стреляет... Пелагею до смерти напугал... Еще разрешится от бремени не в свой час...

Антон Павлович мешал шутку с тревогой. Братья знали эту его манеру, поняли, что он привел их в Максимовку, заранее обдумав переселить Левитана в Бабкино. Пелагея только подкрепила необходимость этого.

## БАБКИНО

А вот и флигель Левитана,  
Художник милый там живет,  
Встает он очень, очень рано  
И тотчас чай китайский пьет.  
Позвав к себе собаку Весту,  
Дает ей крынку, молока  
И тут же, не вставая с места,     Этюд он  
трогает слегка...

Наивные и дружеские вирши эти написал самый скромный из рода Чеховых - Михаил. Антон Павлович поселил его вместе с Левитаном в бабкинском флигельке - сарайчике. Подсадив художнику сожителя, Чехов был спокойнее.

Выздоровление Исаака Ильича пошло быстро. Его никогда еще не окружало такое веселое, умное, даровитое общество. Художник не расставался с милыми и приятными ему людьми с утра до ночи и оценил и полюбил их со всей горячностью своего сердца, на какую только был способен. Семья Чеховых, дружная, острая, неистощимая на всякие дурачества, в то же время умевшая усидчиво и настойчиво трудиться, когда считала себя не в праве отдыхать и бездельничать, наполнила Бабкино жизнерадостным, праздничным шумом. Антон Павлович давал тон всему, всех будоражил, не позволяя скучать, находил каждому дело.

Едва Левитан переехал в Бабкино, как Антон Павлович сделал неожиданное открытие, очень поразившее его. Художник компании не испортил. Наоборот, он после Антона Павловича оказался самым изобретательным. Веселый день начинали или Чехов или Левитан. Иногда по сговору оба. За какую-нибудь неделю они сошлись на всю жизнь. И тот и другой были талантливые актеры. Да и все жители Бабкина составляли как бы небольшую труппу комедиантов.

Однажды представление назначили в поле на Истре. Антон Павлович и Левитан вымазали лица сажей, надели чалмы и бухарские халаты из кладовой Киселевых. Антон Павлович учился ходить бедуином, - и уже все вокруг покатывалось от хохота. Чехов получил из Киселевского реквизита ружье, воинственно закричал и потряс им в воздухе. Мелкий кустарник за Истрой скрыл вооруженного бедуина.

Для забавы своих детей - Саши и Сережи - Киселевы держали ослика. На нем выехал верхом Левитан. Солнце закатывалось. Оно было цвета раздавленной красной смородины. Алые, розовые облака стояли на краю земли; горел высокий обрывистый берег реки; летала над ним огромная стая ласточек, как будто вся из маленьких золотых слитков; на водопое, по брюхо в воде, мычали красные коровы; деревенские голые смуглые ребятишки купали огненных коней. Весь мир был в каком-то зловещем свете.

Тогда, закутанный простынями, показался странный всадник на узеньких лавах через быструю Истру. Осел упирался и не хотел сходить с прибрежного песка. Николай Чехов тянул животное за повод к себе, первый враль в округе, охотник Иван Гаврилов, бывавший у Левитана в егерях, подгонял сзади. Наконец переправились. Исаак Ильич не торопясь кружил по лугу, выбирая место. Потом слез с осла, разостлал коврик, опустился на колени, поднял высоко руки и, глядя на восток, начал заунывно совершать вечернюю мусульманскую молитву. Намаз продолжался несколько минут. Бабкинские озорники, держась за животы, катались по траве, неумолчный хохот разносился далеко: вечерний воздух гулок и жаден ко всякому звуку. Левитан молился, делал уморительные телодвижения, а из кустов крался ползком бедуин с ружьем. На самой высокой ноте, визгливой и резкой, мусульманин замер. Вдруг раздался выстрел. Серый дым густо всплыл над лугом, запылали пакля и тряпки, которыми было заряжено ружье, вздрогнули и помчались кони, неся на себе прилипших к гривам голых ребятишек-наездников, с шумом и свистом, испуганно запищав тысячами голосков, взвилась высоко стая ласточек, овцы разбежались с водопоя, пастухи, щелкая плетями, кинулись в обгон. Понесло вонючей гарью. Бедуин-убийца с хищным взором широкими шагами подходил к своей жертве. Левитан упал от выстрела навзничь, словно сраженный наповал. Около него собрались всем домом. Восточная картина закончилась.

Но все уже безудержно расшалились. Дальше следовали похороны Левитана. Он вытянул вперед руки, на них надели сапоги, на плечи покойнику положили длинные жерди, концы которых держали Антон и Николай Павловичи. Дамы отдали свои белые шали, повесив их на жерди. Режиссером был Антон Павлович. Ему покорно подчинялась вся труппа. Кощунственную погребальную затянул Исаак Ильич. Хор подхватил. Процессия медленно шествовала по дорожкам бабкинского парка. Садовник Василий Иванович, у которого весь растительный мир делился на "трапику" и "ботанику", оставил недоделанную клумбу и бросился бежать. На бегу он крестился и плевался. Бабы, работавшие в саду,

несмотря на все любопытство к ряженым, отворотились от них: доктора Чехова любили и уважали, другого бы за потеху над похоронами отлаяли и пристыдили. Похороны продолжались до тех пор, пока Левитану не надоело паясничать, он швырнул сапоги Николая Чехова далеко на полянку, накинул на голову Антону Павловичу простыню и бросился наутек к своему сарайчику.

- Держи его, вставшего из мертвых! - крикнул Антон Павлович, кидаясь вдогонку за художником. Преследуемый Левитан мчался легко и ловко. Погоня далеко отстала.

День в Бабкине начинался очень рано. Любили летние утра, тихие, прозрачные, свежие. В семь часов Антон Павлович сидел уже за столиком, приспособив для этого ножную швейную машину, и писал. Левитан опережал даже самого раннего из ранних. Садовник Василий Иванович страдал бессонницей. Он выходил до света поглядеть на свою "трапику" и "ботанику", а Исаак Ильич уже спешил по главной аллее в поле. Один раз словоохотливый Василий Иванович попробовал задержать его. Ласковый и приветливый в обычное время, художник так окрысился на садовника, словно тот был его лютый враг. Садовник насмешливым взглядом провожал Левитана. Казалось, художник бежал на тайное свидание с чужой женой.

Василий Иванович, наконец не совладав со своим любопытством, прокрался за Левитаном в глубокий овраг, за версту от Бабкина. Художник сидел перед своим холстом невядалеке от ручья, вытекавшего из бочага. Садовник, смотря сквозь куст, увидел этот ручей, извилистый и полный, и бочаг в осоке с желтенькими кубышками перенесенными на холст.

Антон Павлович до страсти любил собирать грибы и часто ходил в лес. Здесь Чехов почти всегда наткался на работающего Левитана где-нибудь на лесной опушке, в лугах, на пригорке, у реки... Антон Павлович старался проскользнуть мимо незамеченным, чтобы не помешать.

Стены сарайчика быстро покрылись рядами этюдов. Скоро их стало некуда вешать. Все Бабкино следило с восхищением за подвигом художника.

Иногда Левитан наотрез отказывался припимать участие в очередной потехе, почти не ночевал дома, все время проводя за работой. Этот левитановский рабочий запой расстраивал задуманные Антоном Павловичем очередные представления, и Чехов даже сердился на художника-затворника.

Иногда на дверях левитановского жилья появлялась надпись:

"Торговля скороспелыми картинами  
ковенского купца Исаака сына Левитанова".

Художник не оставался в долгу. В большом квадратном окне, перед которым стояла швейная машина - чеховский письменный стол, - Исаак Ильич наклеивал аляповато разрисованную и размалеванную вывеску. На ней было написано:

"Доктор Чехов принимает заказы от любого  
плохого журнала.  
Исполнение аккуратное и быстрое. В день по  
штуке".

Иногда в Бабкине становилось тихо на несколько дней. Чехов и Левитан, увлеченные работой, сидели безвыходно в своих комнатах, не показывались в большом доме, где по вечерам после ужина Киселевы устраивали обычный прием жильцов. Когда затворничество писателя и художника кончалось, они входили к Киселевым один за другим, их встречали радостными криками, Мария Владимировна играла на фортепьяно туши. Эти вечера бывали самыми шумными.

На один из них Левитан явился с Вестой. Друзья догадались, что художник хотел показать какой-то новый фокус. Исаак Ильич позвенел ключами. Веста насторожилась и завиляла хвостом. Художник прятал ключи в самые потайные закоулки. Ключи собака находила и приносила в зубах. В доме стало тесно. Вышли в парк. Левитан швырял в кусты ключи, подвешивал на высокие ветки, зарывал в землю - Веста вытаскивала их отовсюду. Наконец он бросил их в большую кадку с дождевой водой. Собака начала носиться кругом кадки, жалобно заскулила, попробовала достать и не могла. Вдруг она остановилась, словно обдумывая, что ей делать, посмотрела пристально на Левитана, лизнула его руку и начала пить воду Из кадки. Веста пила жадно, не отрываясь, она уже сама становилась как бочонок.

- Отгоните ее, - мрачно сказал Антон Павлович, - бедное животное решило выпить всю кадку.

Собачья настойчивость была непреклонна. Веста не слушала хозяина. Он возмутился такой непокорностью и даже ударил свою любимицу арапником.

Антон Павлович и Левитан были заядлые рыбаки. Они уступали в этом пристрастии к удочкам только Марии Владимировне, совершенно помешанной на карасях, ершах, окунях, и на донках, полудонках, проводках, жерлицах. Плотники должны были строить купальню, но они больше занимались рыбной ловлей, чем делом, упорно доставая из-под коряг налимов. Левитан стоял по горло в

воде рядом с Чеховым и смотрел на неуклюжих рыболовов зло и презрительно, раздражаясь их неумением поймать рыбу. Когда ловцы слишком беспокойно завопили, художник не выдержал и поплыл на подмогу. То же сделал Чехов.

- Дайте, дайте мне, - закричал Левитан, - я высокий. Я ногой заткну нору и потихоньку опущусь с руками. Они у меня цепкие, ногти длинные – от меня не уйдет.

Каждому хотелось первому поднять рыбу со дна. Плотники загородили широкими спинами подступ к коряге.

- Нет уж, господин художник, - сказал один торопливо и боязливо, - мы сами... Мы ведь попривышнее. А то удим, удим, а рыбку есть не будем... Мы не с такими справлялись. У нас на родине речка Ломуха вся в подмоинах, в берегах норы - бревнами тычь. Так мы, милый человек, с сеточкой, с бредешком придем к омутам в Косом Броду и ну сперва рыбу пугать из глубоких подмоин, из норок выгонять. Я раз головой нырнул в нору под крутым берегом. До пояса ушел. Лещи, язи, головли в лицо мне хвостами бьют. Занятно. А чуть бы оттолкнуться, не пушшает, голову зажало. Когда вынырнул, мужики глядят, уши у меня в крови и щека - ободрал, из тесноты лезучи. Рыбу все-таки в омут вызволил. Вдругорядь нырнул ножками. Всю ее вытолкал.

Щекотно было подошвам. Тычет она головками скользкими, другая хвостом, как кисточкой, гладит, смех... Налим нам нипочем... Рыба легкая – лед гладкий, - не укусит пощучьи, не уколет поершиному, а пальцы у нас шероховатые, ухватят, не отпустят...

Все-таки налима упустили. Левитан так ругался, точно рыба была его собственная, добытая с большим трудом. Чехов подтравливал и баском похохатывал. Плотники извинялись. Только один рискнул робко оспорить художника.

- Налим, он хуже змеи, - сказал большой дядя в прилипших к телу домотканых серых портах, - взять трудно. Вы бы, как знать, не хуже нашего обремизились... В воде дело тайное, неясное, руки вслепую...

Антон Павлович запомнил этот день, задумав написать "Налима". В Бабкине он нашел сюжеты многих вещей, как чудная природа Бабкина дала разнообразные, оригинальные мотивы Левитану.

Однажды вечером у Киселевых была разыграна первоначальная чеховская "Хирургия".

Антон Павлович представлял зубного врача, Левитан - горничную, посетителей - Чеховы и Киселевы. Приходившие пациенты так ухаживали за горничной, что актер Левитан скоро не выдержал роли. Антон Павлович, по виду каменный, неприступный, весь в своей игре, хмурился. Но в конце концов горничная, принимая посетителя-заика Николая Чехова, так неудержимо засмеялась, что первым присоединился к ней зубной врач.

Земский начальник Киселев имел под руками камеру со всеми необходимыми судейскими предметами. Веселое бабкинское общество не могло пропустить такую подходящую для развлечения оказию. Любимой потехой стали суды. Попеременно судили всех.

Был день Левитана. Над дверью в бывший курятник все любопытные прочли:

"Ссудная касса купца Исаака Левитана". Купец Левитан обвинялся: в уклонении от воинской повинности, в тайном винокурении, содержании тайной кассы ссуд, в безнравственности и прочее и прочее.

И вот преступника ввели в камеру. В киселевской кладовой нашлись старинные, шитые золотом, мундиры. Антон Павлович и Киселев облачились в них. Киселев был председателем суда, Чехов - прокурором. В небольшой камере не оставалось пустых мест. Сюда собрались все киселевские домочадцы, слуги, гости, знакомые. Они улыбались и перешептывались уже до открытия заседания. Защитник Левитана Александр Чехов, задрав высоко голову, покрытую париком с длинными волосами, важно прохаживался вдоль барьера, отделяющего публику от судейского стола. Защитник обдумывал свою речь. Он готовился яростно драться за подсудимого, подходил к нему, о чем-то спрашивал, записывая на листочке, пожимал плечами и снисходительно усмехался. Он так походил на привычного защитника, которого видел почти каждый из зрителей, что одно это хорохористое прохаживание уже смешило. Николай Чехов разыгрывал скромного дурачка-свидетеля, сидел ни жив ни мертв, не знал, куда девать руки, и наконец стал крепко держаться за стул, точно боялся свалиться с него от страха.

- Суд идет! - заорал сторож камеры, обученный Киселевым произносить эту фразу нараспев для придания особой торжественности происходящему.

Антон Павлович громил Левитана, открывая за ним чудовищные злодеяния, мыслимые только в воображении. В невероятности их и был главный козырь прокурорской обвинительной речи. Публика так хохотала, что прокурора становилось не слышно. Только что сказанное, вызвавшее такое шумное удовольствие, он повторял снова, совершенно искажал, перевирал, доводя зал до исступления. Председатель суда хохотал вместе со всеми и позабывал звонить в колокольчик. Николай Чехов давал косноязычные показания, наполненные невероятным вздором. Удержаться от смеха мог только глухой. Защитник прыгал и катался по камере наподобие тяжеловесного шара. Защитник бил себя в грудь обеими руками, ерошил рыжие волосы, язвительно показывал длинным пальцем на прокурора, который безмолвным золотым истуканом застыл на своем месте. Александр Чехов говорил высокопарно, хватал

за горлышко графин, чтобы налить воды в стакан, лил мимо, в забывчивости жестикулировал графином, то стаскивал с головы парик, то надевал снова. Этого было достаточно, чтобы смеяться впокатку, не говоря уж о защитительной речи. Левитан держал себя как опытный и безжалостный хищник. Он оправдывался ловко и остроумно, высмеивая председателя суда, прокурора, свидетеля и своего собственного защитника. Публика ценила остроумие художника и при особо удачных ответах рукоплескала. Суд оправдывал Левитана. Антон Павлович в ярости срывал с себя шитый золотом мундир и швырял его на председательский стол. Под мундиром на прокуроре была полосатая, как шкура зебры, жилетка. Левитан стремительно надевал брошенный мундир и, заняв место прокурора, произносил обвинительную речь против публики. Грешки водились за бабкинскими девушками, молодыми людьми, садовником Василием Ивановичем, сторожем камеры, - все знали об этом и до времени помалкивали. Теперь было кстати напомнить. Левитан умел из этого извлечь пользу. Камера неистовствовала. Шум долго не унимался. Оратора в золотом мундире качали.

Веселились порой без меры и переступали через край. Чеховы были жизнерадостнее Левитана. Неугомонные, ненасытные выдумщики и насмешники, они беспокоили Исаака Ильича больше, чем он мог выдержать. Приходил день, в который художнику начинало казаться, что дружеские насмешки, вышучивания задевают самолюбие, друзья мало уважают, забавляются над ним, не считают его равным себе. Исаак Ильич делался подозрительным, неприятным, невыносимым, придирался к каждому слову, чуждался всех, исчезал с Вестой совсем из дома и где-то пропадал подолгу. Он не на шутку мучился, выдумывая не существовавшие поводы для своих страданий. Никто не мог помочь Исааку Ильичу, пока буря в нем не утихала сама. На художника не сердились. Антон Павлович хорошо понимал, что с другом творилось неладное, что большое сердце подавало тревожные знаки, что шла будущая болезнь, что темные настроения рождались изнутри. Левитану не мешали. Его оставляли одного. Уныние проходило. Художник снова появлялся на людях бодрый, оживленный, радостный, только чуть бледный и еще более красивый. Антон Павлович, как женщина, любовался прекрасным семитским лицом друга. Жизнь в Бабкине продолжалась...

Иногда они выходили на Истру с рассветом - Мария Владимировна, Левитан, Чехов с сестрой Машей.

- Сегодня будет клевать, - шептала Киселева.
- Река еще далеко, и рыбу вы вспугнете, -- подхватывал Антон Павлович.
- Не говорите вперед - я суеверный. Вон Левитан еще суевернее.
- Да, - подтвердил художник. - Я заметил: если прихожу на лов и сразу опускаю в воду рыбу сажалку, ничего не выуживаю.

Левитан ступал какими-то неслышными кошачьими шагами. Он опережал товарищей.

- Исаак Ильич желает занять лучшее место, - сказал Антон Павлович, - а я предлагаю каждому встать там, где в прошлый раз он удил.

Левитан не согласился. Вдруг Чехов побежал. Художник кинулся за ним. Запыхавшись, они примчались в одно и то же время. На прежнем месте уже сидел какой-то старичок с трубкой, другое место занимал рослый парень в дырявых валенках, в одной рубаше, с засученными рукавами до локтей. На веревочных куканах у обоих рыбаков всплескивалась пойманная рыба.

- Экая досада, - прошептал Левитан.

Ветерок еле-еле тронул прибрежные кусты, набежала мелкая рябь, и река снова стала как замерзшая. Левитан быстро осмотрел небо. Оно ничем не грозило. Ни облачка, ни серой мути - предвестницы дождя, ни красных перьев в утренней заре, сулящих ветреную непогоду. Недолго жалели о занятом. Места были на выбор, удобные, рыбные.

И прошли часы, молчаливые, сосредоточенные, нарушаемые плеском бьющейся на крючке рыбы. Розовое солнце светило сзади. Левитан боялся его. Он подоткнул под шляпу носовой платок, закрывая затылок. Художник ловил плохо. Он слишком много слушал, как журчала на ближнем перекате быстрая Истра, шептался кустарник, кричали кулики, пели птицы в заливных лугах. Левитан пропускал клевки. Мария Владимировна и Чехов успевали вполголоса разговаривать о литературе, о музыке, о театре, вовремя подсекали и уже наполнили свои сажалки крупными ершами.

- Ресторанный, тестовский, - провозглашал Антон Павлович, снимая с крючка колючеперого. - Тестов по копейке заплатит за такого телка. Лейкин платит по копейке за строчку. Что выгоднее? Пожалуй, рыболовство.

Солнце припекало сильнее. Темная утренняя вода стала прозрачной до дна, покрытого желтым песком, мелким цветным гравием, причудливой узорной травкой. Река меняла краски с подъемом солнца.. Она то голубела, то все русло ее устилал золотистый фон, то в блестящую сталь заковывало широкое гладкое плесо. В деревьях просыпались. Невдалеке показалась стая ребятишек - человек десять.

Они выскочили на высокий берег против переката, на мгновение замерли, воровато огляделись и быстро начали раздеваться. В брод они пошли гуськом, высоко неся в поднятой левой руке легкую и немудрую свою одежку.

- За перекастом глубоко, - сказал Левитан, - течение... Придется плыть... Как бы не утонули...

- Они как моржи плавают, - небрежно произнесла Мария Владимировна.

Голые, темно-коричневые от загара, с лучащимися росинками на мокром теле, ребята передохнули на перекасте, стоя по колено. По ту сторону глубь начиналась сразу обрывом. Ребята погрузились. Их стало почти не видно. Только сносило по реке ныряющие над водой охапки цветных рубашонков и штанишек. Ребята переправились, не замочив одежды.

Песчаную широкую косу обрамляла густая ива, дальше росло несколько молодых березок и большой угол осины и ольхи. Ребята стремглав пустились таскать дрова для костра. Скоро он вспыхнул, странный и ненужный на солнце, пламя не походило на обычное. Левитан подумал о новом сочетании красок. Голые ребяташки что-то наскоро помыли, достав из своих узелков, и принялись у огня грызть. Обволакиваемые серыми копнами дыма, освещаемые солнцем и пламенем костра, они сидели на корточках.

- Наворовали моркови, - сказал Антон Павлович, - и лакомятся.

Ребята подкрепились. Они хлопали себя ладошками по вздутым животам и весело смеялись. Потом стали с разбега прыгать через костер, потом взялись за руки и повели хоровод.

- Чем не дикари, - сказал Левитан задумчиво, - как будто кого-то поймали и поджаривают. Но как они красивы! Посмотрите, посмотрите, они подбросили сухого хвороста, искры большим фонтаном, огонь совершенно малиновый, головешки в руках точно мечи!

Ребята теперь скакали у потухающего костра с головнями, размахивая ими и заставляя их от резкого и сильного движения вспыхивать на ветру и гореть яркой-яркой свечой.

- Очень хорошо, - согласился Антон Павлович, - кстати, и рыбе выгодно. Не тревожимая художником Левитаном, она преспокойно обгладывает насадку. Тащи же, клюет!

Левитан дернул и зацепил крупного головля. Подсеченная испуганным рывком, рыба никогда от него не уходила. Исаак Ильич вдруг перестал волноваться, спокойно, уверенно, долго, наслаждаясь, вываживал ее на вытянутой лесе, пока утомленная рыба не сдавалась. Он вытащил головля, самодовольно посмеиваясь и язвительно бормоча:

- Кому ерши, кому головли...

За ловлей головля не заметили, как ребята опять переправились на свой берег. Они напомнили о себе. Над головой Левитана прожужжал камень и упал около поплавок. Потом послышался торопливый, убегающий топот босых ног.

Ближе и ближе полдень. Клевало все реже. Перебрались в тень. Левитан воткнул удочки в берег. Поплавки покачивались на течении. Как будто все небо пело жаворонками. Шелестела под тихим суховеем полусожженная и звонкая листва. На мелях били щука, жерех, гоняясь за уклейей. Мелочь выскакивала над водой, сверкая на солнце серебристыми язычками, вслед выпрыгивали огромные, как поленья, хищники. На Левитана сходило элегическое настроение. Ему хотелось читать стихи. Художник сначала бормотал их про себя, потом все слышнее и слышнее. Голос декламатора дрожал и срывался, делая несвоевременную цезуру.

Шли домой по солнцу, дружные, довольные, все вокруг казалось еще красивее, чем было, одухотвореннее, глубже, значительнее, ближе. Веста встречала Левитана, мчась с невероятной быстротой через луг перед главным домом Бабкина. Исаак Ильич давал ей поноску - сажалку с рыбой. Веста несла бережно, словно боясь растрясти корзинку, замирала; когда сажалка сильно раскачивалась, собака ворчала, давала остановиться поноске и следовала дальше.

Женщины находили лицо Левитана прекрасным. Исаак Ильич входил в партер Большого театра, и сразу входящего замечало много удивленных и раскрытых глаз. На Левитана оглядывались на улице. Исаак Ильич позировал Поленову для Христа в известной поленовской картине "Христос и грешница". Левитан знал об очаровании, которое вызывало его лицо, не мог превозмочь маленькой слабости и кокетничал перед женщинами. Почти неотразимый для них, он сам был влюбчив до смешного, увлекался часто, бурно, забывая об окружающем его обществе и нередко шокируя очередную избранницу слишком пламенным проявлением своих чувств. Некоторые благоразумные женщины, втайне питая к нему нежность, остерегались и подчеркнуто чуждались его. Романы заходили далеко. Подчас они угрожали самой жизни художника.

У Киселевых гостила одна их хорошая знакомая. Левитан влюбился в нее. Она тоже была равнодушна к нему. Но страсть Исаака Ильича напугала женщину. Однажды вечером в доме при людях он встал перед женщиной на колени. Левитан как будто никого не видел, кроме нее, говорил с немыслимой откровенностью, называя ее словами, полными интимности. Она не выдержала и убежала из комнаты. Всем было неловко и стыдно. Левитан поднялся со слезами обиды на глазах. Дня два женщина не показывалась. Наконец они встретились в парке. Левитан повторил свое безумство. Садовник Василий Иванович торжествовал: предусмотрительность его оправдалась. Посреди мокрой после дождя дорожки художник стоял на коленях перед маленькой нарядной гостьей Киселевых. Когда

она, заметив садовника, резко подхватила платье и помчалась прочь, Левитан вскочил с широкими желтыми пятнами глины на брюках и кинулся вдогонку.

Утром женщина уехала в Москву, и Левитан сейчас же собрался следом. Художник пропал две недели. Антон Павлович послал своего младшего брата на поиски. Левитан всюду преследовал женщину. На одном из симфонических концертов, куда художник привел с собой Михаила Павловича Чехова, должна была быть и она с мужем. В антракте взбешенный Левитан подошел к Чехову и просил быть его секундантом: муж только что вызвал неудачника влюбленного на дуэль. Поединку помешали. Левитан долго мучился.

Левитан любил, не отставал от друзей в дурачествах и потехах, удил рыбу, охотился, собирал грибы, с упоением играл в крокет, запоем работал, не был молчаливым в спорах о литературе, живописи, музыке, театре. Они происходили почти ежедневно. После ужина у Киселевых зажигались все лампы. Часто приезжали знакомые певцы, музыканты, актрисы. Чеховы и Левитан усаживались вокруг Марии Владимировны. Она умела рассказывать. Запас ее повестей был неистощим. Рассказчица не скользила поверху, умея передавать о людях и страстях глубоко, остро, со вкусом.

И Чехов и Левитан в Бабкине развили в себе любовь к музыке. Частый гость Киселевых, старый, когда-то знаменитый тенор Владиславлев, пел на этих вечерах.

Иногда взамен Марии Владимировны собирал вокруг себя кружок молодежи сам Бегичев. Он превосходил свою дочь в мастерстве рассказчика.

В Бабкине почитали Тургенева и Писемского. Левитан хорошо читал. Почтарь Микешка доставлял Киселевым все толстые журналы. Скучающий Болеслав Маркевич встречал Микешку еще далеко от имения в лесу. Болеслав Маркевич раньше всех поспевал прочитывать журналы. Старик молчаливо тыкал пальцем в понравившуюся ему вещь; Исаак Ильич в угоду ему принимался за чтение.

Левитан провел вместе с Чеховыми три лета подряд. Зимой 1885 года Мамонтов для своей частной оперы заказал декорации Поленову. Художник один не мог справиться. Он пригласил своих учеников - Левитана, Коровина, Николая Чехова, Симова.

Исаак Ильич написал лес, деревню на берегу реки и монастырские ворота к "Жизни за царя", сад к "Фаусту", несколько декораций к "Русалке" и "Виндзорским кумушкам", зиму и Ярилину долину к "Снегурочке" по эскизам В.М. Васнецова. Антон Павлович часто навещал низкую, сырую полуподвальную мастерскую на Первой Мещанской, где работали художники. Трудились день и ночь, заказчик гнал, назначая премьеры в ближайшее время. Юмор и остроумие гостя прогоняли усталость.

Антон Павлович хвалил работу Левитана. Художник усвоил красочную манеру Поленова, а декорации радовали Чехова их благородным колоритом. Это был первый крупный заказ, он сулил несколько сот рублей, почти фантастические деньги, до сих пор не бывавшие в скудном кошельке Левитана. Получив их, Исаак Ильич не задержался в Москве ни на один лишний час. Художник давно хотел посмотреть юг.

Яркие крымские краски, море, солнце произвели на Исаака Ильича сильное впечатление, они оживили немного до того глуховатую, с безрадостной чернотой и рыжим цветом палитру художника. Он стал смелее, увереннее, цветистее, свежее.

Пробыл Левитан в Крыму недолго, работал с обычной для него жадностью и увез в Москву несколько небольших картин и много этюдов. На периодической выставке Общества любителей художеств они привлекли всеобщее внимание: как колориста Левитана еще знали мало.

Была ранняя весна, были деньги, было восхищение перед красотой южной природы, но Бабкино оставалось милее, и художник торопился туда. Здесь он для М.В. Киселевой написал маленький этюд - мотив бабкинских окрестностей. На крохотном пространстве, на клочке бумаги берег речки, зеленый луг, кромка леса... Но над этим чисто северным пейзажем словно светило невидимое крымское солнце, насыщало и пропитывало этюдик. В крымскую поездку Левитан еще глубже понял барбизонцев, чудесную силу колорита, света, понял как бы наглядно, работая под знойным солнцем юга и делая заказную копию с Коро. В тот год Исаак Ильич изучал французский язык, чтобы прочесть в подлиннике книгу Руже Милле о жизни великого француза.

Весной 1886 года Чеховы приехали в Бабкино одни. Левитан отправился на Волгу. Давнишнее желание его исполнилось. Великая русская река с самых юных лет часто снилась художнику, он видел с нее тысячи снимков, он создал свою особую воображаемую Волгу.

Левитан ожидал чего-то потрясающего, неизгладимых художественных впечатлений на всю жизнь. Он подъехал к могучей реке, держа на сердце руку. День был пасмурный, накрапывал дождь, правый нагорный берег, покрытый чахлыми мокрыми кустарниками, с серыми обрывами, как лишаями, показался унылым, однообразным, а левый, низкий, лесной, сплошь залитый внешней полкой водой, еще печальнее. Тоскливая картина! Огромное сизое грозное небо гроыхало, дождь то усиливался, то стихал, но совсем не кончался, он обдавал холодной пылью, дул сильный свежий ветер с северо-востока.

Исаак Ильич почувствовал себя одиноким с глазу на глаз с громадным водным пространством и затосковал. Очарование исчезло. Никакой величественной красавицы реки не существовало. Была

Волга плачущая, заурадная, некрасивая, мрачная. Левитан с унынием огляделся. Вода, вода, вода... Лес, лес, лес...

Художник, пригорюнясь, сел на большой камень, которого с одной стороны касалась волна. Вдруг Левитану захотелось, несмотря ни на что, все-таки умыться в Волге. Он с нежностью в душе зачерпнул полные пригоршни еще не прогретой солнцем, ледяной воды. Порыв прошел через мгновение. Вода в Волге была мутная, как квас. Левитан подумал, что он не захочет писать ее. Не поворотить ли обратно? Неужели под Москвою нельзя найти достойного материала? Уж столько лет подмосковные рощи, ручья, озерки, деревни изображались на его этюдах и картинах! Левитан вспомнил о Бабкине: издали оно показалось еще прелестнее. Там так хорошо работалось. И никогда он не чувствовал одиночества. Исаак Ильич едва не уехал.

Дурная погода мешала ему работать. Он почти не спал. За стеной мирно храпели две старушки, хозяйки. Исаак Ильич прислушивался и завидовал беззаботной жизни людской, безмятежному сну простых, скромных женщин. Некстати настигла Левитана незванная гостья - привычная отчаянная тоска. Она смешала все планы и надежды художника. Всякий раз, как он страдал от нее, и после того, как наконец безумие проходило, Исаак Ильич думал, что больше не повторятся тяжелые дни.

Однажды бабкинский Микешка принес почту. Конверт на имя Антона Павловича был надписан акварельной кисточкой. Чехов нетерпеливо вскрыл письмо и стал хмуриться. Левитан жаловался:

"Нервы расходились, просто смерть! А впрочем, черт меня возьми совсем! Когда же я перестану носиться с собой? Но что же делать, я и не могу быть хоть немного счастлив, покоен, ну, словом, не понимаю себя вне живописи. Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник. Многие не поймут, назовут, пожалуй, романтическим вздором - пускай! Они благоразумные... Но это мое прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что-нибудь трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения... Господи, когда же не будет у меня разлада? Когда я стану жить в ладу с самим собой? Этого, кажется, никогда не будет. Вот в чем мое проклятие... Не скажу, чтобы в моей поездке не было ничего интересного, но все это поглощается тоской одиночества, такого, которое только понятно здесь в глуши. Не писал вам все это время, не хотелось вновь говорить о моем непрерывном бесплодном разладе, а отрадного ничего не было. Меня не ждите - я не приеду. Не приеду потому, что нахожусь в состоянии, в котором не могу видеть людей. Не приеду потому, что я один. Мне никого и ничего не надо. Рад едва выносимой душевной тяжести, потому что чем хуже, тем лучше и тем скорее приду к одному знаменателю. И все хорошо..."

Антон Павлович аккуратно сложил по сгибам листочки, убрал в конверт, отклеил марку для Сережи и Саши и спрятал письмо в томик Лескова, лежавший на столе. Чехов нарисовал воображаемый профиль Левитана, потом Весту, потом пейзаж Волги и глубоко задумался. Вечером Левитану послали шуточное письмо, покрытое подписями, приглашая срочно прибыть в бабкинский курятник. Антон Павлович особо от себя приписал несколько строк, угрожая, что левитановский сарайчик сдадут другому художнику, что трава в Бабкине пахнет, птицы поют, каждая ветка ждет Левитана и требует его кисти. Исаак Ильич скоро приехал.

Он привез с собой картины "Вечер на Волге", "Пасмурный день на Волге", "Плоты", "Разлив на Суре" и десятки волжских этюдов. Печальные настроения мешали, но творчество художника подчас не зависит от него, повелевая и принуждая. Исаак Ильич сделал много. Художественное развитие мастера шло безостановочно к подъему.



Вечер на Волге

Несмотря на отчаяние Левитана перед трудностью выражения в красках увиденного им в природе, картины на волжские мотивы удались. В них строгая, почти суровая краткость, скупой отбор только тех изобразительных средств, которые давали нужный эффект. Исаак Ильич уже добился от себя умения передавать в пейзаже главное, опуская все лишние подробности. Внимание зрителя, помимо его воли, сосредоточивалось на основном.

Разочарованный в Волге, Левитан все-таки угадал характерное для ее пейзажа. Он сам еще не был вполне доволен - да и когда Левитан испытывал полное удовлетворение! Взыскательность его к себе была чрезвычайная. Впоследствии Исаак Ильич возвращался к тем же волжским мотивам.

Окончательное выражение пришло в годы зрелости и расцвета. В картинах "Разлив на Суре", "Пасмурный день на Волге", "Вечер на Волге" - то непререкаемо левитановское, своеобразное, лирическое, интимное, какого не найдешь у другого русского художника. Картины эти и без подписи Левитана были бы узнаваемы. К ним притягивала особенная поэтическая взволнованность чувства, безупречно переданное настроение. В волжской глуши Исаак Ильич еще глубже продумал законы прекрасного, яснее понял, как с помощью их выражать большие ощущения. Вскоре после поездки появилась картина "Осеннее утро. Туман".

Вещь выделялась на выставке среди произведений многих мастеров.

В.В. Верещагин, знаменитый художник, был на вернисаже. Он остановился перед ней, пораженный и растроганный. Верещагин тотчас же купил ее. Позднее Василий Васильевич принес "Осеннее утро" в дар Третьяковской галерее.

### **КУВШИННИКОВА**

Недалеко от Хитрова рынка, притона отверженных и преступников, страшного и зловещего московского дна, помещалась мясницкая полицейская часть. Во двор ее днем и ночью привозили пьяных, искалеченных, убитых. Под самой каланчой находилась скромная казенная квартира полицейского врача Дмитрия Павловича Кувшинникова. Но все, кто здесь бывал, считали ее квартирой Софьи Петровны, докторской жены. Дмитрий Павлович с утра до ночи был занят по службе, а супруга рисовала, училась живописи, играла на фортепьяно и наряжалась. Рядом, под окнами докторской квартиры, буйствовали пьяные, кричали распоротые хулиганскими ножами и покалеченные кистенями разные несчастные, дико выл непослушный хитрованец, избиваемый городовыми - у Кувшинниковых стояла тишина. Софья Петровна была очень даровита. Из кусков и лоскутков дешевой материи она шила себе прекрасные костюмы. Она умела придать красоту любому жилью, самому захудалому и унылому, простой сарай преображая в кокетливый будуар. Четыре небольшие комнаты своей квартиры с необыкновенно высокими, как в нежилом помещении, потолками, Софья Петровна убрала по своему вкусу. Искусной женщине не доставало средств, но она не унывала и так ловко изворачивалась с самыми скромными деньгами, что украшенное ею гнездо Кувшинниковых казалось роскошно меблированным.

В комнате мужа ничего не было, кроме кровати, крохотного стола и стула да трех голубеньких кувшинчиков с бессмертниками на подоконниках. В столовой царил "русский стиль" - взамен стульев и кресел стояли деревянные лавки, буфетик был расписной, с фантастическими голубыми и розовыми цветочками на створках, на стенах висели полотенца, вышитые красными петухами. Для гостинной Софья Петровна отвела самую просторную комнату с турецкими диванами, а рыбацкие сети, заменявшие занавески, выкрасила в какой-то нестерпимо яркий золотистый цвет. И все это было оригинально, подходило к общему устройству квартиры художницы. Свои апартаменты хозяйка устроила с антресолями. В них вела витая лесенка. На антресолях была спальня и жил ручной журавль. Он признавал только одну хозяйку, по слову которой плясал, взмахивал крыльями, наскakiвая на запоздавшего гостя, ложился на пол, притворяясь мертвым и долго оставаясь неподвижным. Журавль враждовал с двумя сестрами Дмитрия Павловича и с ним самим. Капризному баловню Софьи Петровны покорно во всем уступали собаки, как и сам доктор безмолвно подчинялся воле затейливой своей жены.

Внизу, под спальней, Софья Петровна раскинула причудливый персидский шатер. Сюда в тесный уют и тепло уединялись влюбленные, ревнивцы, усталые от многолюдного общества гостинной, желающие отдохнуть в одиночестве.

Софья Петровна была чудесно сложена. С фигурой Афродиты, темноглазая, смуглая мулатка, она привлекала общее внимание неповторимой своей оригинальностью. Цветы, написанные Кувшинниковой, покупал Третьяков, ее игрой на фортепьяно заслушивались общепризнанные московские пианисты-виртуозы. Софья Петровна любила охоту не меньше, чем искусство, и, подолгу пропадая в подмосковных лесах, одна, одетая по-мужски, возвращалась с полным ягдташем. Софья Петровна говорила, повелевая, словно имела над своими собеседниками такую же неограниченную власть, как над мужем, избалованная его терпением, молчаливостью, большим сердцем и глубокой затаенной нежностью.

Кувшинникова была горда и смела, презирая всякие сплетни о себе. Софья Петровна смотрела прямо в глаза своему новому знакомому или знакомой и говорила:

- Вы очень напоминаете древнего германца. Только грубее еще. Вам не хватает красок, душенька, а то вы были бы совсем милой... Посмотрите, посмотрите - в лице ее что-то от Греза, от Генсборо, от смольнянок Левицкого!

Кувшинникова отличалась невиданной рассеянностью. Надев туфли, она благодарила самое себя. Извозчика она нанимала: "Туда и обратно – сорок копеек". Извозчик спрашивал, куда ему ехать, Софья Петровна почему-то возмущалась и резко произносила: "А вам какое дело?"

Знакомство у Софьи Петровны в Москве было огромное. В ее причудливом салоне под пожарной каланчой собирались врачи, писатели, художники, музыканты, артисты.

Кувшинникова любила молодежь, опекала ее, любовалась всем красивым, свежим, даровитым.

Она постоянно окружала себя молоденькими красивыми девушками, юношами. Они являлись желанными посетителями ее дома наряду со всякими знаменитостями. На вечерах у Софьи Петровны бывало весело. Гости пели, не умолкала музыка, писатели читали новые свои произведения, молодежь танцевала, свободно и радостно смеялась, флиртвала... Софья Петровна умела занимать гостей, знала привычки и слабости каждого, с улыбкой их поощряла. Она распоряжалась своим салоном одна. Муж не показывался в нем до ужина. Дмитрий Павлович имел нескольких приятелей, таких же безмолвных, как и он сам. В бедной его комнате, где на столике едва умещалась шахматная доска, доктор сидел с приятелем за шахматами. Ровно в полночь в дверях гостинной появлялась крупная, улыбающаяся фигура хозяина. Он в одной руке держал вилку, в другой нож.

- Пожалуйте, господа, покушать, - громко и торжественно произносил Дмитрий Павлович фразу, знакомую завсегдатаям салона.

Ее дожидались, привыкли к ней, перестали улыбаться на нее за давностью употребления и сразу переходили в столовую. Стол ломился от закусок. Там было бы тесно лишнему прибору. Все скромное, дешевое, но вкусно приготовленное. Софья Петровна почти всегда подбегала к своему мужу, брала его за голову и громко говорила:

- Дмитрий! Кувшинников! Господа, посмотрите, какое у него великолепное, доброе, незаурядное лицо!

За ужином Дмитрий Павлович по большей части молчал, аппетитно кушал, приветливо угощал гостей и не мешал своей супруге царствовать в застольной беседе.

Левитан пришел к Софье Петровне с Чеховыми. Там уже бывал раньше художниканималист Степанов, друживший с обоими Кувшинниковыми. Необыкновенная красота Левитана резко выделяла его среди всех гостей. Стареющая, под сорок, женщина, пережившая не один легкомысленный роман, полюбила Левитана по-новому. Исаак Ильич ответил ей. Чувство ее было глубоким, большим, мучительным. Художнику недавно исполнилось тридцать. Разница в годах беспокоила Кувшинникову, и она постоянно сознавала непрочность своего счастья. Связь с Левитаном прикрывалась ученичеством у него. Дмитрий Павлович все понимал, переносил молча, только чаще и чаще к нему стал приходить художник Степанов, и они помногу пили вина. Каждое лето Софья Петровна уезжала с Левитаном на

этюды, в Саввину слободу, на Волгу. Возвращалась Кувшинникова поздно осенью. Дмитрий Павлович счастливо улыбался.

- Дмитрий! Кувшинников! - искренне и радостно восклицала она, тепло обнимая его. - Дай я пожму твою честную руку! Дай мне посмотреть хорошенько на твое благородное лицо! Антону Павловичу Софья Петровна не нравилась, он жалел ее мужа и осуждал Левитана. Роман с Кувшинниковой едва не разлучил старых друзей навсегда. Чехов написал знаменитую свою "Попрыгунью", изобразив в этой роли Софью Петровну, в образе доктора Дымова бедного Дмитрия Павловича, а Левитана в образе коварного, себялюбивого и черствого художника Рябовского. Левитан обиделся и за себя и за свою любовь. Он перестал встречаться с Антоном Павловичем, собирался вызвать его на дуэль, ссора была затяжной, тяжелой, продолжалась больше года, измучила обе стороны.

Однажды зимой в мастерскую Исаака Ильича заехала Татьяна Щепкина-Куперник, молодая писательница. Она пользовалась особым благоволением Софьи Петровны, постоянно посещала вечера ее, летом жила вместе, роман с Левитаном проходил на глазах юной приятельницы Кувшинниковой.

Увидев Щепкину-Куперник, Левитан очень обрадовался, помог освободиться от покупок, которыми были полны ее руки, и взял заиндеветшую от мороза шубку своей неожиданной гости. Радостная, веселая и звонкоголосая, какими умеют быть только юные девушки, она наполнила тихую мастерскую художника приятным шумом и смехом. И Левитан с удовольствием слушал оживленную свою посетительницу, приветливо улыбался ей, показывая новые этюды, которые она заехала посмотреть.

Щепкина-Куперник говорила быстро, торопливо, беспокойно взглядывая на свои часы. Художник обратил внимание на ее беспокойство и спросил об этом. Левитан узнал, что у нее оставалось полчаса времени и что она должна была попасть на вокзал к отходящему поезду, с которым ехала в Мелехово – имение Антона Павловича. И Левитан перестал улыбаться, задумался, потом признался девушке, что очень жалеет о своем разрыве с Чеховым. Щепкиной-Куперник было известно, что Антон Павлович морщился, вспоминая свою незадачливую "Попрыгунью", поссорившую его с Левитаном. Щепкина-Куперник решила воспользоваться удобным случаем и примирить бывших друзей.

- Едемте! - воскликнула она и перестала смотреть на этюды, которые показывал ей художник. - Едемте сейчас же, только собирайтесь скорее, мы опоздаем на поезд.

Левитан был в нерешительности: энергичный натиск девушки пугал и втайне радовал.

- Как, сейчас? - спросил он тихо и растерянно развел руками, сплошь перепачканными в красках.

- Помойтесь и едем - почти приказала женщина. - Я уверена, что Антон Павлович только этого и ждет и не прогонит вас.

Исаак Ильич недовольно нахмурился, поняв, что гостя была на стороне Чехова. Левитан помедлил, вяло отошел к большому окну студии и грустно стал смотреть на огромную ель перед фасадом, всю засыпанную, как пушистым хлопком, вчерашней метелью.

- А вдруг Антон Павлович не поймет моего порыва, - пробормотал он печально. - И приезд мой будет совсем некстати.

- Я за все отвечаю! - воскликнула Щепкина-Куперник. - Я не сомневаюсь, что доставлю ему большое удовольствие, если привезу вас. Собирайтесь же! Время идет. Наверно, был уже первый звонок, в поезд скоро отправится.

Она взяла свои покупки со стула. Исаак Ильич заволновался, быстро отошел от окна, швырнул кисти в желтенькое ведрышко, где они обыкновенно хранились, и поспешно принялся мыть руки.

Левитан промолчал всю дорогу в поезде. На конечной остановке пересели в сани. Лошади пошли бойко по обкатанной легкой зимней дороге.

- Танечка, а если, а если мне суждено пережить неприятную минуту? - словно простонал Исаак Ильич, поежился, спрятал лицо в поднятом воротнике шубы.

Спутница ничего не ответила, ей передалось его волнение, она пожалела, что слишком погорячилась и была, может быть, напрасно самоуверенной. Страх за Левитана все усиливался. Теперь она вздыхала не меньше, чем Исаак Ильич.

В сумерках показался низенький мелеховский дом. Левитан думал, что колокольчик под дугой звенел ненужно громко. Сани с шумом раскатили на повороте к дому, и лошади остановились у крыльца. Вышел Антон Павлович. Левитан робко и нехотя вылезал из саней. Друзья с минуту постояли друг против друга в замешательстве и... поздоровались. За ужином они сидели рядом, как будто ничего в прошлом не случилось и они никогда не расставались.

## ПЛЕС

Огромный белый зонт стоял за городом у дороги. Под ним приютился Левитан. День был праздничный. В Плесе на Волге звонили. Мимо Левитана шли женщины; они возвращались после обедни в соседнюю деревню, остановились молча, долго смотрели на странного человека под необыкновенным зонтом и о чем-то перешептывались между собою. Левитана это стесняло. Он положил кисти. Тогда женщины почти побежали, подняв с пухлой летней дороги желтосерую тучу пыли. Исаак Ильич закрыл свежий этюд своим чесучовым пиджаком, пока проносило пыль, - она могла повредить этюд.

Проходили одни, другие... Дорога опустела. Над ней и над прилегающим полем было то летнее безмолвие, какое наступает в самые жаркие часы после полудня. Солнце, небо и безлюдная земля... Исаак Ильич снова вернулся к работе. Вдруг из оврага показалась отставшая старушонка. Она несла в белом платочке просвиру и поминальник. Богомолка доковыляла до Левитана и оперлась на свою кривую клюшечку. Было много солнца, и черный платок с глубоким напуском на глаза не спасал старухи, как она его не поддерживала ниже. Проходящая долго смотрела на улыбавшегося художника, жевала губами и что-то потихоньку говорила. Потом перекрестилась, искала в узелке копеечку, со страхом положила ее в ящик с красками, низко поклонилась и запыхавшись по дороге. Левитан взял теплую монетку и, не отрываясь, взволнованный, провожал ласковым взглядом древнюю бабушку. С тех пор он свято хранил ее дар как талисман и никогда не расставался с ним.

Под белым зонтом у дороги Левитан сидел часто, любясь широким, длинным плесом Волги, пригорками, лугами, городком в кудрявой зелени. Исаак Ильич проводил лето охваченный каким-то спокойным очарованием. Он поверил, что хандра больше никогда не повторится, впереди у него одни безоблачные годы, радостные, успешные, счастливые.

Левитан не испытывал теперь одиночества. Его всюду сопровождала Софья Петровна Кувшинникова. Вместе с ней он провел два лета в Саввиной слободе, пока наконец окрестности русского Барбизона ему не надоели. Пьяницу Каменева кормили зайчатинной чащей. Софья Петровна стреляла метко. Иногда она уходила на охоту нарочно, чтобы не мешать работать Левитану, - и Каменев был в выигрыше. Но Исаака Ильича потянуло к новым местам, к свежим впечатлениям. Волга пугала после первого неудачного путешествия. Выбрали Оку. Из приокского села Чулково, в котором думали надолго обосноваться, пришлось бежать. В Чулкове еще продолжался одиннадцатый-двенадцатый век. Темные люди ходили за художниками толпой и пристально разглядывали их, как заморских гостей. Потом стали осторожно ощупывать одежду приезжих.

Едва Левитан и Кувшинникова раскрыли зонты на задворках и начали писать ветряные мельницы, село переполошилось. Одна дурная крикливая бабенка с бессмысленно вытаращенными глазами, с куском хлеба в руке, дико выкрикнула:

- Лихие господа приехали!

Левитан начал собираться в отъезд. Проходивший в Нижний Новгород пароход подобрал художников, отчаянно махавших ему огромной красной шалью и тиковой дорожной наволочкой. Ока померкла. Левитан грустно осматривал чужие берега. Нигде не тянуло пристать. Из Нижнего отправились вверх по Волге и добрались до Плеса. Маленький, тихий, красивый, поэтический городок показался тем мирным уютным и теплым уголком, какого давно жаждала душа художника. На волжском берегу путешественники сняли две небольшие комнаты. Таланту Софьи Петровны было где проявиться. Охалка сена, два стола, два ковра, несколько скамеек - и бивуак художников почти походил на зимний салон Кувшинниковой. Левитан лихорадочно раскладывался. Утром следующего дня Софья Петровна не слыхала, когда он выбрался за двери.

Исаак Ильич целыми днями бродил по окрестностям городка и бесконечному волжскому берегу, таская за собой нелегкие художнические принадлежности. Его манило развернуть зонт через каждые пять шагов.

Художник щелкал пружиной зонта. Софья Петровна садилась рядом под своим.

В Плесе люди немногим отличались от чулковских. Смотреть на художников, живущих по-своему, не похожих на коренных жителей, вышло много любопытных. Наблюдали издали. Базарным кумушкам достались свежие новости о новоприбывших, пересуды и потеха. Левитан быстро притерпелся, он научился не замечать дикого внимания, был полон собой, своими творческими замыслами.

Плес вдохновлял. Левитан уверовал, что все неясное, бродившее в душе он в силах выразить, передать красками и линиями. Еще недавно, в Саввиной слободе, на Оке, на пароходе сюда, он сомневался в этом, приходил в отчаяние, с отвращением озирался по сторонам, почти ничем не привязанный к жизни, готовый с нею без сожаления расстаться. В такие минуты Левитан бросал совсем работать, сознавал себя лишним, ненужным: существование без искусства становилось в тягость.

В Плесе Исаак Ильич открыл ту Волгу, какую создавало его художественное воображение с юности. Вторая поездка к великой русской реке оказалась удачной. В первое же лето он написал здесь картины: "Вечер. Золотой Плес" и "После дождя". Антон Павлович увидел их осенью.

- Знаешь, - сказал он Левитану, - на твоих картинах даже появилась улыбка..

Утро, свет, солнце, легкий ветерок... Это лучшие часы для живописи. Исаак Ильич любил их. Самые дорогие, душевные мысли, образы тогда вставали перед ним. Белый зонт Левитан складывал грустя: день кончался, и не все, не все еще было сделано в эти обидно короткие часы; зачем-то наставала ненужная ночь, когда краски спят и вымытые кисти просыхают в ведерке.

Рассвет заставлял художника на ногах. В маленькой круглой коробочке из-под пудры лежала копейка - талисман. Он хранил ее всегда в ящике для красок и брал с собой. Он всю жизнь по утрам не ходил, а почти бежал, как Алексей Кондратьевич Саврасов. Плес просыпался позднее художника. Вместе с ним вставала природа. Пели птицы, радуясь своему пробуждению. Плескалась в Волге рыба, ловила на золотой глади мошек, стрекоз, кузнечиков. Обманутые тишиной и гладью, они садились на воду и вдруг пропадали в глубине. Они хотели пить, впиваясь хоботками в воду, и не успевали напиться, погибая.

Кричали кулички и чайки на бурых и рыжих отмелях. Трава после ночной росы стояла острым ершиком. Словно вытянулись и выпрямились, помолодели деревья, каждый листок стал тугим и упругим, полным соков. Коршун кружил над левитановским белым зонтом, не узнавая крылатой диковинной птицы, неподвижно рассевшейся на земле и словно стерегущей кого-то.

Однажды на кровлю художника напали пчелы. В ясное, желтое, прозрачное утро, похожее на теплый мед в сотах, Левитан услышал странный певучий гул в ближней низине. Шум и гул нарастали, все густея. Исаак Ильич с недоумением посмотрел кругом. Но не успел он все оглядеть, как воздух потемнел, совсем близко раздалось мощное жужжание, по зонту словно застучали крупные градины. "Пчелы!" - пронеслось в сознании, и художник прижался к мокрому лугу. Жужжание уже оглушало, оно поглотило все другие звуки, не слышно было куликов, чаек, звонкоголосых ласточек. В глазах Левитана почернело. Пчелы летели густо, плотно, садясь на вздрагивающий от тяжести зонт. Исаак Ильич лежал не шевелясь, будто придавленный. Зонт подрагивал, и это было страшно. Левитан боялся, что зонт не выдержит и упадет на него. Художник почувствовал приближение привычной тоски. Надвигалась смерть... Она висела над головой. Тысячи пчелиных жал могли сейчас вонзиться в слабого и незащищенного человека. У Левитана стучали зубы, как на морозе. Протекли мгновения, но, казалось, время тянулось медленнее, чем всегда. Исаак Ильич закрыл глаза. Вдруг где-то раздался выстрел. Зонт сильно качнуло. Пчелы снялись - и черная туча рассеялась.

Левитан поднялся с земли, вытирая холодные капли пота со лба, расстегнул ворот рубашки: он душил. И сразу Исаака Ильича охватило ликующее чувство освобождения от беды и восхищение перед мудрой природой. Она создала самое совершенное из насекомых - пчелу. Рождаются молодые пчелы, старый дом им тесен, они ищут нового жилья, и рой улетает. Вечным, таинственным, великим повеяло на художника. Невольно для самого себя, уже забывая о пронесшейся угрозе, Левитан сохранил в сердце навсегда очарование грозного полета пчел.

Первые утренние часы Левитан работал в одиночестве. Потом приходила со своим зонтом Софья Петровна. Они перекочевывали о места на место, забредали далеко, возвращались в сумерках, усталые и удовлетворенные удачным днем.

В Плесе нравилось Исааку Ильичу все. Казалось, свежих впечатлений хватит здесь на всю жизнь. Когда любишь - преувеличиваешь. На окраине города стояла одинокая старинная деревянная церквушка со звонницей. Она доживала свой век, никому не нужная. За ветхостью служить в ней было опасно. Древнюю церквушку Левитан заметил в день своего приезда в Плес и сразу очаровался ее оригинальной архитектурой. Маленькая, удивительных пропорций, с двухскатными крутыми крышами, она была созданием талантливой плотничьей артели, какие обстраивали избяную, церковную и мирскую Русь лет четыреста--пятьсот назад.

Вскоре Исаак Ильич пришел к приходскому священнику, прося разрешения сделать эту церквушку снаружи и внутри. Ржавый замок давно не отпирали. На другой день Левитан явился с пузырьком подсолнечного масла. Священник, посмеиваясь, экономно покапал в замочную скважину, на дужку, и сказал:

- Помазание елеем... Ваше рвение да будет угодно Флору и Лавру, во имя коих созидался сей храм...

Но все-таки пришлось звать слесаря. Замок загремел и развалился, как сломанный крендель. Только с приходом мастера Исаак Ильич вступил внутрь помещения. Здесь, как и снаружи, на всем, сверху донизу, словно мелкая сизая шерстка, был мох, плесень; почерневшие образа с еле проступающими ликами. Пауки покрыли своими искусными серыми вуалями; коегде стоял кривой древний подсвечник, резной, крашеный, в каплях воска. Левитан втянул какой-то особый запах, смешанный с сыростью, точно древний ароматный ладан не рассеялся через столетия, впитался в дряхлые стены и запоздало благоухал.

Исаака Ильича оставили одного. Он стал писать, волнуясь, представляя себе отдаленных временем людей, когда-то заполнявших церквушку. Софья Петровна пришла позже. Ее охватило

желание оживить этот старый некрополь, зажечь в нем огни, накурить ладаном. Левитан увлекся. Он понимал, как художник, всю декоративную прелесть совершаемого обряда в такой древней руине.

Священник сначала не соглашался служить в опасном месте. Художники настаивали. Наконец он позвал дьячка. Старики служили обедню для двух любопытных людей. Было все по порядку. На старой звоннице сторож зазвонил в маленький древний колокол.

Под карнизами спокойно жили голуби. Небывалый звон вспугнул их. С шумом и резким треском крылышек взвилось выше единственной главки на церквушке и стали кружиться вокруг нее. Священник и дьячок, оба дряхлые, желтые, с чахлыми голосами, всем своим видом подходили к общему запустению. Батюшка не пожалел ладана для заказной обедни. Густыми, завивающимися облачками плыл дым из кадила, словно в нем жгли бересту. Огарки полупудовых свечей чадили в нескольких подсвечниках. Заказчики просили, чтобы риза на священнике была самая древняя, какую только можно достать в Плесе. Священник перерыл всю свою ризницу, нашли ризу столетней давности, из золотой, потускневшей парчи.

Уже в самом начале обедни, при первых возгласах, Левитан заволновался. Софья Петровна заметила на глазах его слезы. Вдруг он наклонился к ней и стал расспрашивать, как и куда ставят свечи. Батюшка и дьячок служили, косясь на удивительного богомольца, который ни разу не перекрестился, но бродил у иконостаса с пучком свечей и ко всем образам ставил их. Щеки Левитана заалелись. Он конфузился улыбающейся Софьи Петровны и старался смотреть мимо нее.

В узенькие окна наискось светило солнце. Пять золотых мечей рассекали небольшое пространство и упирались в широкие седые половицы пола, неровно струганные топором. Между солнечными полосами оставались сумерки, заполненные голубоватым качающимся ладаном.

Звон со старой звонницы слушали не одни заказчики. Он растревожил сердца трех старух, почти таких же древних, как черные иконы в иконостасе. Старухи пришли в старинных темных сарафанах, в черных платках, встали в углу в ряд. Левитан подумал, что где-то таких старух он видал. Художник вспомнил своего товарища М.В. Нестерова. Да это на его картинах такими изображались люди древней Руси. После обедни Исаак Ильич подошел к богомолкам.

Они рассказали, что лет пятьдесят тому назад венчались в этой церквушке.

Левитан окончил этюды, церковь заперли большим крепким замком, голуби снова спокойно заворковали на карнизах. После Левитана каждый художник, посещавший Плес, непременно писал эту церквушку. Было в ней что-то притягательное, поэтическое, создаваемое прекрасным расположением памятника старины, красивой и оригинальной его архитектурой.

В сложной душе Левитана уживалось несоединимо ясное, пушкинское, реальное представление о мире и, одновременно, таинственное, мистическое. Он не раз стоял где-нибудь в глухой деревенской церквушке за вечерней службой, его знобило, он находил какую-то для себя особую прелесть в этом безмолвном забытии. Однажды в Троицын день в соборе Плеса во время исполнения обряда благословения цветов Левитан прошептал Кувшинниковой:

- Послушайте... Ведь это же удивительно... Как хорошо...

По просьбе Левитана Софья Петровна иногда читала ему псалтырь или евангелие.

В Плесе к Исааку Ильичу не только привыкли, но у него завязались хорошие отношения с разными людьми. Он подружился с одной красивой женщиной-старообрядкой. Семейная жизнь ее была ужасная. Женщина искала выхода и не находила его. Одинокая, беззащитная, она в отчаянии выходила на волжский берег. От смертного шага ее удерживали какие-то последние привязанности к миру. Они окрепли после знакомства с художниками. Она решила уйти из семьи. Подробности этого ухода, редкого в то суровое и варварское время, в патриархальном домостроевском городке, обсуждались подолгу, часами. Встречались по вечерам, чтобы ничей чужой глаз не заметил, не повредил задуманному делу. Софья Петровна поджидала старообрядку в подгородной роще, куда прибегала возбужденная, оглядывающаяся на свой след женщина. Левитан стерег их на пригорке, внимательно осматривая окрестности, чтобы не пропустить опасного соглядатая, почуявшего неладное в тихом и рабском своем Плесе. Левитан был доволен, когда наконец удалось счастливое бегство из Плеса молодой мятежницы. На этой стороже художник подсмотрел мотив картины "Вечер. Золотой Плес".

Белый зонт каждое утро начал подниматься на том самом месте, где вечером художник стерег женщин, одновременно наблюдая за тихой розовой зарей, догоравшей над городком, над волжским Плесом, за необходимым художнику освещением и красками.

Исаак Ильич жил полной жизнью. Огромная художественная работа сменялась страстью к охоте. Любимица Веста вскакивала, едва он брал ружье. Она сопровождала его всюду на этюдах, ленивая и сонная, почти как мертвая, лежала в тени зонта, поднимала голову только на громкоголосых прохожих. Теперь она мгновенно преображалась, начинала скулить, носиться по дороге, прыгать на охотника, ставя ему мохнатые, крупные лапы на грудь. В Софье Петровне Левитан нашел яростного товарища-охотника. Она ходила по-мужски, широко и размашисто. Кувшинникова была выносливее неутомимого своего спутника. Они бродили по полям, перелескам, низинам и оврагам с рассвета до ночи. В

охотничьем азарте забирались очень далеко, иногда ночевали в лесу. Их настигали грозы, ливни, ветры, холодные ночи с утренниками.

Северные лета шатки и коварны. Промокшие под дождем, они весело смеялись, разводили костер, сушились. Женское платье просыхало скорее, и Софья Петровна была счастлива, когда Левитан не отказывался согреться первым в ее теплой кофточке.

Кувшинникова хохотала и хлопала в ладоши, любясь смешным и милым ей видом художника.

Охотничье состязание разделяло их почти как недругов. Каждый хотел настрелять больше.

Они вытряхивали друг у друга ягдташи и пересчитывали добычу. Подчас жестоко ссорились.

Однажды рано утром собрались в заречные луга. Лодочник еще спал, и его пришлось долго дожидаться. Левитан подстерегал дичь, которая могла вылететь из ближней рощи на водопой. Ее не было. Одни чайки крикливо кружили над Волгой и метко садились на воду с небольшой рябью, добывая мелкую рыбешку. Белоснежные птицы, отяжелев, утратив стремительность и плавность, подымались с серебряными рыбками в клювах. Чайки несли свой корм, держа его поперек за спинки, смешные, как бы усатые. Вдруг Левитан неожиданно выстрелил. Звонко ударила дробь. Кувшинникова даже вскрикнула от негодования. Исаак Ильич убил чайку. Несколько серебристых перышек всплыли в воздухе. Птица упала на мель. Вода раздалась, далеко разлетелись брызги - и все успокоилось. Веста помчалась и принесла в оскаленных зубах добычу охотнику.

- Бессмысленная жестокость! - закричала Софья Петровна. - Как вам не стыдно! Что вы сделали? Зачем? Вы скоро будете стрелять ласточек, синичек, соловьев...

- Да, да, это гадко, - сказал он, расстроенный. - Я сам не знаю, зачем выстрелил. Это подло, подло с моей стороны. Клянусь, ничего подобного я больше никогда не сделаю. Бросаю мой скверный поступок к вашим ногам, как вот эту чайку.

Он хотел ее в самом деле положить у ног Софьи Петровны. Но она вскочила, замахала руками, потребовала не делать этого и отбежала. Лодочник уже гнал лодку из заречья. С недоумением он заметил быстро уходивших прочь от берега нетерпеливых охотников. Лодочник налег на весла, закричал. Левитан обернулся с обрыва и дал ему знак ехать обратно. Под неудержимую злобную брань его Левитан и Кувшинникова ушли с чайкой домой.

Неприятное впечатление не улеглось и на другой день. Софья Петровна нервничала и придиралась. Исаак Ильич копал ямку для чайки, бледный, взволнованный. Вдруг он начал клясться, что ненавидит охоту и больше не будет стрелять. Софья Петровна сгоряча поддержала и тоже дала обет никогда не брать ружья в руки. Но оба не сдержали обещания. Первым его нарушил Левитан, уйдя на охоту однажды утром втихомолку от Софьи Петровны. Исаак Ильич оставил Плес с последними пароходами перед заморозками. Он ехал в Москву с таким большим багажом, какого еще ни разу не привозил. Следующей ранней весной, в самую распутицу, Левитан со своей верной подругой был уже на старом месте. В то лето Исаак Ильич написал знаменитую свою картину "Тихая обитель". К нему пришла подлинная, настоящая слава. Зрителей поразила необыкновенная теплота, уют, задушевность, с какой художник сумел передать скрытую поэзию русского пейзажа.

О Левитане заговорили как о человеке, который понял и подметил подлинную русскую красоту. На картинах художника ожили овеванные глубокой пронизательной любовью поэтические углы нашей страны. До сих пор ни одному русскому художнику не удавалось с такой интимностью, нежностью, лиризмом, подкупающей правдивостью изобразить русскую природу. После "Тихой обители" во всех новых произведениях Исаака Ильича уже находили эти типичные черты национальной пейзажной живописи.

Антон Павлович Чехов и старик Григорович стояли перед "Тихой обителью" на очередной передвижной выставке. Чехов внимательно слушал восторженного Григоровича и, по своей привычке, отмалчивался. К ним подошел поэт Плещеев и быстро заговорил:

- "Тихая обитель" на устах всей интеллигенции Москвы. По заслугам, вполне по заслугам, но с одним я никак не согласен. Я вижу разлад между названием картины и ее содержанием. Помилуйте, называют это тихой обителью, а тут все жизнерадостно. Горят, тлеют на закате купола лесного монастырька. Тишь. Свет. Безмолвствует лес, река, лавы. Ктото нашел в картине тоску, печаль, грусть... Даже сладость. Не понимаю. Художник неверно назвал свою вещь.

Григорович и Плещеев заспорили, долго не отходя от облюбованной ими картины. В тот день вечером Чехов написал сестре Марии Павловне: "Левитан празднует именины своей великолепной музыки. Его картина производит фурор. Успех у Левитана не из обыкновенных". Исаак Ильич очень любил это свое произведение. Через два года после окончания

"Тихой обители" Левитан снова вернулся к тому же мотиву. Он разработал его по-новому, ярче, светлее, жизнерадостнее. Он населил его людьми, едущими в лодке по спокойной воде. В ней отражаются розовые облака. В ясную глубину опрокинуты бело-розовая колокольня, стены, церковь, рыжий кустарник, зеленые деревца на низком берегу, голубая лазурь. Убраны лавы, здесь ненужные. В "Вечернем звоне", как назвал художник эту вещь, столько простой ликующей радости, очарования, восторга перед миром, который действительно кажется звенящим и поющим на закате.

Всякому художнику дороги воспоминания, встречи, находки, дни, когда зарождаются замыслы. Так было с Исааком Ильичом. За недолгую жизнь, за двадцать творческих лет, он написал до тысячи холстов. Почти тысяча разнообразных мотивов. Левитан ходил своими большими ногами по русской земле с постоянно зорким и пытливым взглядом. Плеса на Волге хватило бы на поколения живописцев. Левитан хотел большего. Он привык находить мотивы самые лучшие, отбирая их среди других, менее выразительных.

Однажды около городка Юрьевца, недалеко от Плеса, на прогулке в пригородной роще Левитан заметил некрасивый захудалый древний монастырь. Бездарная и убогая рука размалевала его причудливыми колерами. Они раздражали и вкус и глаза художника. Но был чудный вечер, мир лежал перед взором таким тихим и мудрым, что красоте его ничто не могло повредить. Текла ясная, журчащая река. На дне ее темнели отраженные кудрявые вершины деревьев, пять голубых соборных глав, птица влекла свою улетающую тень. Утлые легкие лавы соединяли два речных берега. Безлюдье. Сон. Желтая пустая тропа вела к лавам. Васильки в глубокой траве голубеющей дымкой обрамляли тропу. Левитан остановился. Даже сильнее забилося сердце. Потребовалось положить руку на него, чтобы успокоиться и передохнуть. В голове художника рождалась картина. Еще не вся. Но мотив ее уже был найден.

Исаак Ильич просветлел, сладко вздохнул, полежал в высокой траве у обочины дороги, лежа нарвал большой букет васильков, вынул из нагрудного кармана какую-то тесемочку и крепко связал васильковые стебли. Так, с этим букетом Левитан и возвратился в Плес. Исаак Ильич солил воду в кувшине, чтобы дольше продержались цветы и не увядали. Он испытывал к ним какую-то смешную, детскую, особую нежность. Они росли на той земле, которую художник так полюбил с одного взгляда. Софья Петровна подсмеивалась над новым талисманом.

Левитан писал почти всегда с миниатюрных набросков и больше по впечатлению, только иногда целиком с натуры. Но Юрьевец был далеко: взамен натуры служила огромная безошибочная память, впечатление. Он поражал всех знавших его. Левитан в любое время мог перенести на холст или на бумагу когда-либо виденное им. Он переносил с такой удивительной верностью, что многие наброски по памяти обманывали людей испытанных и опытных. Наброски казались подлинными этюдами с натуры. Левитан писал с наслаждением, почти не разгибаясь, несколько не замеченных им недель. Обстановка в Плесе действовала на него как-то возбуждающе. Он кончал одну картину, начинал другую, иногда на мольбертах стояло несколько недоконченных. Стояло пять-шесть лет.

Таким было великолепное, мощное, величественное произведение о Волге "Свежий ветер". Эта волнующая вещь, смелая, оригинальная, яркая, полная какого-то героического размаха, лучшая из лучших в русской живописи о великой нашей реке, появилась на выставке с опозданием на семь лет. Начало ей положил Исаак Ильич в Плесе. Свежий ветер под огромным хмурым небом, точно за мутью облаков собирается метель, течет взволнованная ветром гигантская река. Просторы ее бесконечны, как и само небо над ней. Ближе к берегу крохотный буксирный пароходик тянет высокие, громоздкие, с мачтами, с парусами, древние по формам, расписные баржи, расшивы и тихвинки. Их вычурные и красивые кормы, то похожие на избу с двумя окошками, то на стройные и строгие треугольники с колоссальными рулями, убегают от зрителя за буксиром. Навстречу идет белый нарядный пассажирский пароход. Низко над волнами летают чайки. Просторы. Дали. Беспокойные воды реки скрываются за горизонтом. Уже тогда, в Плесе, Исааку Ильичу удалось глубоко почувствовать и понять величие волжского пейзажа в непогожий день. Величие и национальное русское своеобразие волжского трудового быта. Он вчерне написал "Свежий ветер". Оставались доделки. Необходимое художественное совершенствование. Оно и заняло почти десятилетие.

Исаак Ильич выпускал из своей мастерской только такие картины, за которые ни от кого не ожидал упрека. "Ветхим двориком", изумительным по крепости и силе реалистической живописи, единственным в своем роде среди всех работ Левитана, закончил художник свою творческую жизнь в Плесе. "Ветхий дворик" неповторимо своеобразен. Такие заповедные углы и увидит и поймет только избранный. В маленьком "Ветхом дворике" Левитана больше русского, чем в сотнях картин других мастеров на самые наирусские сюжеты и темы. Левитан поднялся в Плесе в полный рост.

### **ТРИ КАРТИНЫ**

После Плеса Кувшинникова и Левитан на лето поселились в Тверской губернии, близ заштатного городка Затишья. Тут была своя красота. Вокруг белели колонны ампирных усадеб. Они прятались в английских, французских парках, разбитых еще во времена Екатерины. Парки разрослись.

Исаак Ильич не поместил в своих пейзажах ни одного барского дома. Изысканная красота не прельщала его. Душа художника оставалась к ней равнодушной. Левитан искал в русском пейзаже вечного, неизменного, непреходящего. Будут жить небо, земля, вечера и закаты, солнышко, и воды, и цветы на лесной опушке, и туман, и свежий ветер на Волге.

Левитан любил огромную равнину русскую, длинные ее дороги, большую воду, весенние ручьи, гремящие с пригорков, яркие и резкие осенние краски лесов и рощиц, пески и нескончаемые волжские

дали, небо над ними то хмурое, то лучезарное, как в древней русской сказке. Левитан любил родину. Все скромное, милое, великое и простое в ней.

Он был за границей три раза. Остался холоден к цветущей природе Италии. Скучал в необыкновенных по красоте горах Швейцарии. Кисти подымались вяло, не слушались руки, глаза не хотели видеть. В Финляндии он ежился и хандрил и даже совсем не нашел природы.

Он был однолюбом. В Италии художник вечером забрался на высокую скалу над морем. Зеленели окрестные луга так, как они не зеленеют в России, голубое небо было не похоже на русское, не похож воздух, даже облака шли какие-то другие в ярко-голубой вышине. Левитан заплакал. Он почувствовал вечную, потрясающую красоту, готов был поклониться полуденной Италия... Но мгновение только мелькнуло. Удивление не рождает вдохновения. Марины итальянские он написал хорошо - плохо не мог и не умел, - но, когда они высохли, свернул их в трубочку и забыл.

Его не увлекло современное искусство Европы. Он много обошел картинных галерей и выставок. Старые мастера - венецианцы, испанцы растрогали его до слез. Он почувствовал в них величие духа, совершенное мастерство, необъятную творческую силу. Он по несколько раз возвращался к их великим полотнам. Не то пережил Исаак Ильич от французской живописи. Пювис де Шаванн показался ему уродом. Левитан стоял перед его вычурными картинами и раздраженно разговаривал сам с собой, произнося одно только слово: "Мерзость, мерзость..." И почел себя оскорбленным, негодовал, когда узнал, что Париж сходил с ума от произведений Пювис де Шаванна, боготворил его и поклонялся ему.

Впечатления Исаака Ильича двоились. Он старался не пропустить интересного и волнующего. Но он сыскал такого меньше, чем нашел явно для себя ненавистного, возмущающего его. Не понимал, как могли восхищаться французы художниками, творчество которых представлялось ему безумием. Картины французских новаторов - импрессионистов были в московских частных галереях. Иногда выставки импрессионистов заезжали в Россию. На одной из них Левитан увидел знаменитые "Стога сена" Клода Моне. Он отвернулся от них. Исаак Ильич не оказался в одиночестве. Так же приняли их многие из русских художников-передвижников.

Между первой и последней поездками прошло почти десять лет. Исаак Ильич как будто бы подобрел, двинулся вперед, хотел смотреть другими глазами на непростое искусство импрессионистов. За год до смерти, в 1899 году, живя в Париже, Исаак Ильич почувствовал наслаждение перед картинами Моне, Казэна и Бенара. Он закрыл глаза и случайно вызвал перед собой три имени передвижников Маковского, Волкова, Дубовского. Сравнение получилось не в пользу русского искусства. Левитану показалось благом для художника жить в Париже. Но эти чувства были недолговечны и непрочны. Они вызваны были мимолетным настроением.

Исаак Ильич не всегда бывал хозяином над своими маленькими человеческими слабостями. Пейзажи Левитана очаровывали людей разного круга. Художника по-своему любила петербургская и московская знать. Левитан иногда нестерпимо кичился своими связями с этими поклонниками и вызывал негодование товарищей. Ему скоро прощали. Видели, как он мучился и стыдился и страдал, когда здоровое и реальное чувство, жившее в нем, побеждало чуждое и наносное. Но слабости показывались и прятались, связи с важными людьми оставались. Его радушно и охотно принимали в богатых домах, в шикарных имениях. Он написал несколько дружеских портретов-подарков. И... ни одного пейзажа усадебного, и много крестьянских хат, деревень, расшив, тихвинок, стогов, плетней, лодок рыбацких. В пейзажах художника нет изысканной колоннады, невзирая на всю бесспорную ее красоту. Это своеобразный левитановский демократизм - влияние школы передвижников, влияние школы на Мясницкой.

Как-то раз с веселой компанией молодежи Левитан оказался на мельнице в имении Бернове баронессы Вульф. Кувшинникова привыкла делать зимние приемы под своей пожарной каланчой, летом было негде и не для кого, без общества она скучала. Небольшие пикники рассеивали скуку. С этой целью и приехали на мельницу. Исаак Ильич бродил около мельничного омута задумчивый, взволнованный. Кувшинникова несколько раз позвала его и оставила. Было понятно, что Левитан выбирал место, откуда намеревался писать этюд этого темно-зеленого бассейна. Действительно, художник пошел к экипажу, достал удобный свой этюдник, ящичек с красками, кисти. Молодежь шумела, пели песни, пили чай. Левитан перестал чувствовать и замечать окружающее, углубленный в свое дело. На пикник пришла с большим опозданием баронесса Вульф. Увидав Исаака Ильича за работой, помещица сказала: - А знаете, какое интересное вы пишете место? Эта мельница с омутом вдохновила Пушкина. Александр Сергеевич несколько раз гостил у нас в Бернове и соседнем имении Малиннике, часто бывал здесь, услышал одно старинное предание, и... так зародилась пушкинская "Русалка".

Баронесса рассказала, что прадед ее был человек очень крутого нрава. Молодой конюший полюбил дочь мельника. Она затяжелела от конюшего. Преступник предстал перед барским судом. Разгневанный помещик забрил конюшего в солдаты. В тот день, как юношу отправили, девушка утопилась в омуте.

Левитан слушал, волнуясь. Когда-то Пушкин смотрел на эту бревенчатую плотину, с которой бросилась девушка! Плотина, наверно, была та же самая - поперечные могучие бревна отливали сизым и серым, время не зря прошло для них. Пушкин ходил вокруг, слышал такой же рассказ, думал о дочери мельника, написал "Русалку". Все это подтолкнуло Левитана к созданию картины. Может быть, иначе он бы ограничился рядовым наброском.

Пока продолжался веселый пикник, Исаак Ильич ушел закончить маленький этюд. Художник присоединился к веселящимся какой-то вдруг расцветший. Он словно помолодел, ему захотелось шуметь, кричать, петь, бегать в горелки, рассказывать анекдоты и первому хохотать над ними. Такие хорошие минуты наставляли, когда Левитан находил новый, увлекающий его мотив. Радость приходила от избытка сил, от уверенности в себе, от нетерпеливого желания скорее победить и осуществить задуманное. Софья Петровна понимающе улыбнулась и сказала баронессе:

- Как хорошо, что вы припомнили эту печальную трагедию о молодом конюшем и дочери мельника. Теперь я уверена, что будет новая картина. Я немножко Левитана знаю...

- Да, да, я ее напишу, - горячо воскликнул Исаак Ильич. - И такая картина нужна. Я люблю мельницы, омута около них. Тысячи людей проходили мимо. Останавливались. Они запомнили какой-нибудь вечер возле такого омута. Запомнили неизгладимо, навсегда. Он им пригрезится снова, и люди вздыхают, может быть, жалеют прошлое, может быть, вспоминают о нем со счастливой улыбкой. Около омута ведь хочется стоять, думать, мечтать...

Через два дня к мельнице подъехала тележка. На козлах сидел Исаак Ильич. Кувшинникова бережно везла огромный подрамник с свеженатянутым холстом. И так началось ежедневное паломничество к омуту. Рано утром "икона", как прозвали ее местные жители, прибывала на неизменной тележке. Ездили за несколько верст, по пыльной дороге; этюд закутывали простынями. Левитан работал целый день. Обратно отправлялись вечером с последними солнечными лучами, чтобы не застала ночь в пути. Софья Петровна еще бережнее держала "икону". Тележка ездила туда и обратно неделю. Наконец Исаак Ильич дописал этюд.

Собственное помещение на даче у Левитана было мало и неудобно. Художник не хотел дать себе остынуть. Так с ним бывало. По какому-либо случаю внутреннее напряжение рассеивалось, и вещь оставалась подолгу не завершенной. На помощь ему отвели под мастерскую большой зал в старинном доме.

Здесь, почти не покидая помещения, Левитан долго, упорно искал лучшего из выражений, постоянно менял, бросал одно, принимался за другое, пока наконец не положил кистей и не подписал картины, назвав ее "У омута". Левитан создал исключительной силы поэтическое произведение. Оно из таких же счастливых художественных находок, как и пушкинская "Русалка".

Этим летом Исаак Ильич мог быть доволен. Вскоре после картины "У омута" появился такой яркий и типичный для русского лесного пейзажа "Лесистый берег". Познание русской природы стало глубже, разнообразнее, обобщеннее. Следующая вещь была и значительнее и удачнее. Это знаменитая картина - "Владимирка". Многие из товарищей и друзей-художников считали ее лучшим, что создал гений Левитана. Он сам и не предполагал, что так может случиться. Находки мотивов у всякого пейзажиста чаще всего случайны. Таков материал его искусства. Исаак Ильич не думал писать "Владимирки". Он случайно наткнулся на тему и увлекся ею.

Однажды после охоты близ городка Болдино Владимирской губернии, имения Сушнева, Левитан и Кувшинникова вышли на незнакомую дорогу. Охотники заблудились. Был предосенний вечер, серенький, теплый. На огромную открытую равнину спустилась беспробудная тишина. Дорога тянулась белой, вытоптанной, обкатанной полосой к далекому, еле синему краю земли. Перелески, низкие кустарники, редкие высокие деревья, словно озирающие и сторожащие безмолвную равнину, кое-где обступили вечернюю дорогу. Вдали потихоньку ковыляли две старухи богомолки с сумками за плечами. Левитан и Кувшинникова присели у деревянного придорожного голубца с выцветшей иконкой. Поставленный в древние времена, никем не опекаемый более, голубец покосился, был ветхий, едва держался на одной ноге, крашенной когда-то прозеленью. Чем-то поэтическим, уютным, заботливым веет от таких неизвестно кем сооруженных дорожных вех. Левитан потрогал старое дерево, осторожно постучал по нему, и внутри голубца зашуршала, осыпаясь, гнилая труха. Исаак Ильич достал карандаш, бумаги не нашли в карманах ни Левитан, ни Кувшинникова.



Владимирка

- Разве вынуть из патрона и разгладить, - серьезно сказал Исаак Ильич. - Кажется, я делал пыжи из чистых клочков.

Софья Петровна засмеялась, подумала, просияла и полезла в сумочку с провиантом. Там оказался в продолговатой коробочке дамский надушенный носовой платок. Левитан нежно и благодарно взглянул на догадливую подругу. На двух сложенных вместе ягдташах с тетерками и утками Исаак Ильич разложил платок, Кувшинникова его подержала за концы, и карандаш быстро силуэтом зарисовал голубец.

- Все в кладовушку, - пошутила Софья Петровна, - хотя, наверно, и не понадобится этот дорожный пустяк.

- Места для него надо немного, - как будто даже обиженно заметил художник.

Они присмотрелись к чужому полю, куда еще никогда не забредали, глянули во все стороны и увидели вдаль дуб и две ветлы у мостика через крохотную безымянную речку. Отсюда шел проселок к Городку, почти до самого дома заблудившихся охотников. Они перестали беспокоиться. Охота дала много радостей, удовольствия, хороших минут. Левитан и Кувшинникова приятно устали. Надвигался вечер, но не хотелось вставать и снова идти. Спокойная, величественная равнина направо и налево, ненарушимая тишина на ней, теплынь, запах созревших хлебов и яблок, мягкие сумерки - все это действовало на душу, как убаюкивающая колыбельная, и природа казалась ласковой, уютной, прекрасной.

Левитан сидел, привалясь спиной к голубцу, и задумчиво следил за медленно удаляющимися богомолками.

- В природе, - вдруг ответил он собственным мыслям, - больше всего меня поражает великая, живая, я это чувствую, почти таинственная мудрость, бесконечная красота всего, потрясающие законы соотношения частей. Природа не терпит ничего безобразного. И его в ней нет. Посмотрите, рядом с нами ничего мертвого, все дышит, живет, понимает. Оно волнуется в бурю, зябнет в снегу, задумалось сейчас спокойным вечерком, отдыхает от солнца, ветров, гроз. Оно прилегло, как и мы... Сокровенная большая жизнь...

Богомолки шли и шли, подпираясь домодельными, деревенскими клюшками. Старухи становились меньше, словно с каждым шагом вперед убавлялись в росте, ноги у них уходили в землю. Рядом с перелеском богомолки походили на цаплей, что стоят по вечерам на отмелях как черные столбы. Дорога стала темнеть. Посуrowели поля. Тихая вечерняя прелесть исчезла. Ее сменяло более резкое, строгое, грустное...

- Постойте, - вдруг громко сказал Левитан, вспомнив, что это за дорога, где они сидели. - Да ведь это же старое Владимирское шоссе! Это Владимирка! Та самая Владимирка, по которой гонят на каторгу, в Сибирь, тысячи несчастных людей. Гонят уже больше ста лет. Помните, как в песне:

Спускается солнце за степи,  
Вдали золотится ковыль, Колодников  
звонкие цепи Взметают дорожную пыль...

Сколько скорбного, отчаянного, безнадежного передумано вот у этого, быть может, голубца... Около них постоянно устраивают привалы арестантов. Я наблюдал много раз. - Левитан болезненно поморщился. - Какие тяжелые картины человеческого горя видала эта дорога! По ней вместе с колодниками прошли сотни революционеров. Я, кажется, где-то вблизи слышу кандалный звон...

Он вскочил и стал напряженно всматриваться туда, откуда ему почудились зловещие звуки. Софья Петровна знала, каким исключительно нервным, болезненно чувствующим человеком был Левитан. Он мог действительно увидеть то, чего сейчас не было. Она это анала - и каждый раз поддавалась полету его воображения. Невольно Кувшинникова повернулась в направлении его взгляда.

В голосе, в фигуре, в печальных глазах художника Кувшинникова чувствовала большую и острую жалость. Поэтическая панорама изменилась. Исаак Ильич увидел затаенную скорбь. Владимирского шоссе, над которым каждый день всходило и светило солнце, пели звонкие птицы, по обочинам вызревали океаны русской ржи и пшеницы - кормилиц народных, опускались мирные, ясные, благодатные вечера, не стало. Левитан хотел видеть по-своему.

- Уже поздно, - сказал он, торопливо надевая ягдаш, - пойдете скорее домой. Завтра рано утром я возвращусь сюда. Мне надо все приготовить для работы.

Он встал до света, не хотел будить Кувшинникову и, нагруженный всем необходимым, вышел потихоньку на улицу. Городок спал в холодной полумгле. Утренник легкой белой кисеей лег на траву. Окна в домах были отпотелые. Кое-где на мокрых скользких крышах, недружелюбные к холоду, каркали бессонные вороны. Ежась от утренней острой сырости, Левитан быстро зашагал к недалекой городской окраине. Софья Петровна догнала его с пальто в руках и насильно заставила одеться. Снаряженная по-походному, в теплом, с ружьем, она напоминала часового при Левитане. Кувшинникова отобрала лишние вещи у Исаака Ильича, застегнула ему пальто на все пуговицы, нахлобучила крепко и глубоко шляпу - только тогда успокоилась и, невыспавшаяся, сладко зевнула.

Исаак Ильич написал "Владимирку" в несколько сеансов. Кувшинникова и художник попеременно переносили на руках из Городка к голубцу и обратно большой тяжелый холст.

У голубца на Владимирском шоссе задумал картину и работал над ней печальный и тоскующий пейзажист-гражданин. На большее он не был способен. Исаак Ильич жил в суровые и страшные десятилетия истории России. Господство насилия казалось ему неодолимым. Он не знал и не понимал, где выход. Да едва ли и задумывался над этим. Он искренне сочувствовал бедам народным, тепло и трогательно жалел народ, любил его, был всегда предан ему и своими мыслями и сердцем - и не верил в его силы, не видел их и не ощущал.

У Левитана не было негодования, он не переживал испепеляющего гнева против насилия и насильников, неизбежного в натурах сильных, непокорных, воинственных. Художником владела лишь тихая грусть, он мягко и безвольно подчинялся. Что такое левитановская "Владимирка"? Это грандиозный сумеречный вечерний пейзаж какого-то безымянного безлюдного, унылого, размытого шоссе, убегающего в серую даль, к серому небу. Если бы мы раньше не знали, что называлось Владимиркой и что о ней говорила стоустая молва, пейзаж Левитана воспринимался бы только как пронизательное и проникновенное изображение природы России. Одно из наиболее ярких, впечатляющих и национальных. Русские люди через пейзажи Левитана научились понимать национальную свою природу. До Левитана никто не мог выразить на полотне те разнообразные и глубокие ощущения, которые русские люди переживали от своей природы, не умея дать имени им.

В одно лето Исаак Ильич создал картины: "У омута", "Владимирка", "Лесистый берег", "Вечерний звон". Этудов он уже не считал, хотя нередко в них мастерство художника достигало высшего своего проявления. Большие картины Исаака Ильича направлялись по одному пути, никто этого не оспаривал, их на корню приобретал П.М. Третьяков. Жадный ко всему выдающемуся, собиратель протягивал руки и к лучшим этюдам. Но тут Третьяков побеждал далеко не всегда. Он медлил, колебался, скопидомничал, не любил делать что-либо срыву, долго обдумывал - и запаздывал.



Вечерний звон

В то лето Исаак Ильич вернулся из Болдина необыкновенно жизнерадостный, довольный, полный новых творческих замыслов. Зима предстояла хорошая. В привезенных этюдах было несколько мотивов, которые особенно увлекли художника. Он собирался уже "делать" картину.

Но однажды в мастерскую поспешно вошла Софья Петровна - и налаженная жизнь кончилась. Кувшинникова принесла неожиданные и неприятные вести. Удивительному художнику - творцу русского пейзажа - пришлось вспомнить свою национальность. В Москве началось очередное гонение против евреев. Полицейский врач Кувшинников узнал, что среди прочих изгоняемых был знаменитый Левитан. Ему дали срок - двадцать четыре часа.

Стоял холодный сентябрь. Исаак Ильич недавно перебрался на зимнюю квартиру. Он не любил деревни осенью. Он достаточно побыл в летнем уединении. Художник скучал по друзьям, знакомым, по той маленькой культуре, какую находил в тогдашней Москве. Все это Левитан снова терял. Софья Петровна собирала его, возмущенная и бессильная. Время истекало. Исаак Ильич выехал только с самым необходимым. Он верил, что влиятельные поклонники выхлопочут ему возвращение на другой же день. Художник добрался до Болдина и не распаковывался. Прошла неделя. Кувшинникова прислала унылое письмо. И вещи стали выниматься из чемоданов.

Хлопотали в Москве, хлопотали в Петербурге. Левитан томился в Болдине, как в карантине. Когда-то в другом Болдине, недалеко от Болдина Сушнева, в холерный год отсиживался Пушкин, запертый со всех сторон непроезжими рогатками. Художник горько сравнил прошлое и настоящее. Почти ничего не изменилось в этой непонятной, ни за что, ни про что любимой России.

Исаак Ильич прожил октябрь-ноябрь-декабрь. У него скопилась пачка теплых дружеских писем со штемпелями Москвы и Петербурга. Софья Петровна неожиданно увлеклась зимней охотой на лисиц. Дмитрий Павлович, бережно закутывая в шубу, покорно провожал жену в Болдино.



У омета

От Левитана скрывали, но он чувствовал, что друзья, хлопотавшие о праве художника жить в Москве, далеко не были уверены в успехе. Софья Петровна уже представляла, как придется разорять мастерскую, упаковывать картины и куда-то вывозить их. Бедная женщина ходила по Москве разъяренная, острая и злая на слово, от нее сильно доставалось тем, кто издевался над замечательным русским художником. Она сделала много. В петербургских и московских верхах поняли, что поднятые в обществе в защиту Левитана шум и возмущение ставили власть в смешное и затруднительное положение.

Исаак Ильич до января не смел показаться в Москве. Он потерял ползими. Всех родственников художника выселили без права въезда обратно. Тут уж помочь никто не мог. Жизнь опять устраивалась, дворник снес в участок непрописанный волчий паспорт еврея и вернул его с широким, на полстраницы, лиловым полицейским штампом: гонение кончилось.

Оно стоило русскому искусству не дешево - почти год бездеятельной жизни Левитана. Художник возвратился в Москву, но так до новой летней поездки в провинцию ни за что и не взялся.

В тот год Левитан и Кувшинникова сняли помещение в старинном имении под Вышним Волочком, близ озера Удомли. Обедневшие помещики оказались большими поклонниками художника, относились к нему с таким вниманием, что весь уклад жизни в доме располагался в соответствии с работой пейзажиста. Это было сделать не так легко. К хлебосолам и радушным людям, имевшим многочисленную родню, с первым весенним теплом начинали съезжаться дальние и ближние родичи. Скоро они населили все углы в обширном доме. Он напоминал шумный пансион, а не частный дом. Но когда днем Исаак Ильич писал, заботливые хозяева уводили куда-то всю многоголосую ораву своих гостей. Наставала та чудесная многозначительная тишина, какая бывает только в деревне. Левитан был в полном одиночестве. Даже трех хозяйских собак держали в это время взаперти в отдаленном садовом павильоне.

Исаак Ильич платил хозяевам за ласку и заботу большой привязанностью. К вечеру картину на мольберте поворачивали к стене. Вдруг появлялись жильцы имения, словно их из решета вытряхнули. Все устремлялось на половину Левитана и Кувшинниковой. Праздники Исаак Ильич целиком отдавал обществу. Ездили верхом в далекие прогулки, устраивали поездки в соседние усадьбы, ловили рыбу удочками, бродили с сетями по прудам и озерам. Но особенно часто собирали грибы. Левитан увлекался этим почти так же страстно, как охотой. Он приучил Весту лаять на мухоморы. Где мухоморы, там в траве белые грибы. Исаак Ильич, довольный, с улыбкой, шел на звонкий собачий лай. Он понимал оттенки собачьего таяканья.

Веста по-разному беспокоилась на полянке, сплошь покрытой грибами, и у отдельного мухомора. Корзина художника чаще, чем у других, была полна.

За художником благородно и бескорыстно ухаживал весь дом. Исаак Ильич не остался в долгу. Он написал во весь рост портрет хозяина Николая Павловича Панафидина и подарил этому симпатичному и трогательному человеку. Портрет был не в жанре Левитана, труден, непривычен, - и художник потратил много труда, чтобы сделать все-таки отличный портрет.

В имение Софья Петровна пригласила двух молодых девушек – начинающую поэтессу Таню Щепкину-Куперник и ее приятельницу Наташу Блатоволенскую. На озере против имения был островок. Левитан перевозил сюда на лодке Таню и Наташу. Высадив "девочек", он сильными взмахами весел стремительно угонял лодку и кричал издали:

- Ну, вот теперь и сидите, больше не приеду за вами! И все вас забудут... Интересно, что вы станете делать?..

Подруги проводили привольный день - купались, загорали на солнце, пели, декламировали. Таня писала стихи, Наташа разучивала монологи из трагедий. Такое одиночество казалось чудесным. На закате Исаак Ильич приезжал за счастливыми уаницами. Он весело кричал:

- Девочки, ужинать! Сегодня раки и малина!

Таня и Наташа бежали к берегу, врывались в лодку, раскачивая ее с борта на борт и почти зачерпывая воду. И Левитан с тревогой выравнивал веслами старое, хилое и хлипкое суденышко.

- Перестаньте, - красиво картавил он, - я уже купался. Мне не хочется быть ни утопленником, ни спасителем утопающих барышень-баловниц.

Лодка шла неровно и зигзагами по воде, красной от ветреного заката. Ливень щебечущих тонкоголосеньких касаток проносился низко над озером. "Девочки" старались поймать их руками. Исаак Ильич бросал весла и ловил белой шляпой. Иногда возвращались с песней. Запевал Левитан "Лучинушку", "Горел-шумел пожар московский", "Ах ты, сад, ты, мой сад, сад зелененький". Вечер полон эхо - и молодой, юный смех с лодки разносился далеко. На террасе дома стояла Софья Петровна и махала своими широкими рукавами. Она носила какие-то странные хитоны собственного рукоделия. Молодость безобидно дерзка и насмешлива. "Девочки" немного смущали Левитана, когда он затруднялся ответить на их вопрос - какого цвета были хитоны на Софье Петровне.

Раз отчалили в какой-то необыкновенно тихий, словно замечтавшийся вечер. Левитан особенно любил такие безмятежные, почти кроткие вечера. Не хотелось домой, он еле шевелил веслами или высоко подымал и смотрел, как скатывалась с весел зеленоватая вода. "Девочки" перешептывались и лукаво взглядывали на своего нерадивого перевозчика. Вдруг Таня, слегка волнуясь и стараясь это скрыть, сказала Левитану:

- Хотите, я прочту новое стихотворение. Оно сегодня написано на острове. Угадайте, что я описала в нем?

Поэтесса сконфуженно покашляла, заморгала, щеки вспыхнули, точно вздули в темноте огонь. Наташа смотрела на подругу испуганными, преданными глазами. Она волновалась больше самой поэтессы. Левитан все это понимал, не хотел стеснять и нарочно опустил глаза. Наконец дрогнувшим голосом юная поэтесса неестественно выкрикнула первую строку, совсем смешалась, как-то безнадежно махнула рукой и начала снова:

Бывают дивные мгновенья на земле:  
Все дремлет в сказочной, прозрачной полумгле,  
Под светом месяца, изменчивым и чудным,  
Заснуло озеро, умолкнул шепот волн,  
В прибрежную траву лениво брошен челн,      И все  
полно покоем беспредельным.  
О, если б всколыхнул вдруг ветер эту тишь!  
О, если б зашептал проснувшийся камыш!  
Проснулось озеро - и о любви запело!  
О, если б, не боясь ни волн, ни страшной тьмы,  
Ленивый этот челн вдруг отвязали мы      И к счастью  
полетели смело...

Исаак Ильич начал живо рукоплескать. Поэтесса принужденно кивнула и осталась недовольна.

- Только-то? - спросила она.

Левитан захлопал снова, сильнее и закричал "браво", и эхо побежало через перелески, болота, озера.

- Мне неприятно, - сказала Таня, - что вы не угадали, чем вдохновлено мое стихотворение. Значит, оно плохое. Мне очень дороги близок ваш пейзаж "Вечер на озере" с развешанными на берегу сетями. Я думала о нем, когда писала.

Исаак Ильич сейчас же спохватился.

- Вы же опомниться мне не дали, - быстро заговорил он. - Конечно, конечно, я узнаю свою вещь в этом прелестном поэтическом описании. Оно лучше моей слабой вещи. Я не совсем доволен ею. Очень уж я домики написал у воды точные, похожие, скучные, со всеми ненужными деталями. Как у неопытного живописца, ученика, который часто пишет то, чего не надо.

Девушки засмеялись, не поверив ни одному слову.

За Левитаном ухаживал весь дом. Все делалось в нем с расчетом, чтобы доставить художнику приятное. Это всеобщее внимание действовало на Таню и Наташу. Они относились к Исааку Ильичу с удивлением, как к чему-то необыкновенному, почти с обожанием, гордились своей теплой и веселой дружбой с ним.

Однажды он рисовал девушек. Портреты не удались. Исаак Ильич горевал и принимался несколько раз переделывать. Таня пожелала написать в свою очередь "портрет Левитана" стихами. Когда они были готовы, Софья Петровна дала поэтессе лист хорошей толстой бумаги для рисования. Исааку Ильичу поднесли на нем тщательно переписанное стихотворение:

#### К ПОРТРЕТУ ЛЕВИТАНА

Как со старинного портрета,  
К нам из ван-дейковских времен      В  
обитель суетного света      Сошел - и  
неохотно - он.  
Как будто сам носил когда-то  
Он черный бархатный колет,      Вот так  
и кажется, что взято  
В нем все из тех далеких лет:  
И заостренная борода,  
И выражение темных глаз,      Что так  
рассеянно и кротко      Глядят, не замечая  
вас.      Покрыты бронзовым загаром  
Его суровые черты.  
Но все ж в улыбке есть недаром      Так  
много детской доброты.  
Любовник чистого искусства,  
Чуждаясь света и людей,  
Другого и земного чувства      Он не  
таил в душе своей.  
Он жить не станет без свободы,  
И счастлив он в глуши лесной,      Ему  
знаком язык природы      И не знаком язык  
иной.

Таня Куперник

Левитан благодарил, посмеивался и отрицательно качал головой, не признавая за собой всех достоинств, щедро подобранных юной поэтессой. Зато стихами упивался весь дом, почти каждый из гостей списал их себе на память. Исаак Ильич преподнес Софье Петровне каллиграфически написанный лист, и та спрятала его в альбом с ее собственными рисунками цветов.

В одну из поездок на озеро Удомлю Левитан задумал знаменитую свою картину "Над вечным покоем". Художник сделал набросок с натуры. Церковь на островке была некрасивая. Он заменил ее другой, древней, из Плеса, этюд с которой написал еще три года назад.

В дом словно бы вошло что-то большое, важное, о чем шептались во всех углах, даже ходить стали тише. В доме по вечерам всегда было много музыки. Софья Петровна, не уставая, часами играла Бетховена, Шопена, Листа. Все для него одного! Кувшинникова была прирожденной пианисткой, и многие дарования Софьи Петровны меркли перед этим. Она же ему не придавала никакого значения и была лишь счастлива тем, что ее умение играть пригодились Левитану. Исаак Ильич избрал на террасе закоулок между двух боковых колонн.

Лунный свет проникал сквозь сирень. Он падал на бледные, с тонкими длинными пальцами руки художника, обнявшие старую, кое-где выщербленную колонну. В темные ночи над домом всходили высокие звезды. Исаак Ильич смотрел на них, думал, мечтал под музыку. Теперь музыки стало еще больше. Левитан работал с огромным увлечением. Софья Петровна часто играла почти весь день.

Художник любил все, что создал Бетховен. Героическая симфония Бетховена с ее March funebre (Траурный марш) потрясла Левитана, и он прятал от всех слезы при ее исполнении. Софья Петровна служила самоотверженно. Картина "Над вечным покоем" подвигалась быстро.

В конце лета в собственную усадьбу, соседнюю с панафидинской, прибыла семья видного петербургского чиновника. Через несколько дней новоприбывшие явились знакомиться со знаменитым художником. Это была дама средних лет, когда-то очень красивая. От былой красоты остались грация, изящество, дивный певучий голос, но глаза уже приходилось подводить и губы требовали большого ухода, чтобы не казаться слишком бледными. Петербургская кокетка безукоризненно одевалась. Изящные, со вкусом сшитые костюмы значили очень много в ее беде, помогая молодившейся женщине убавлять свои лета. Мешали ей в этом лишь две очаровательные, лет по восемнадцати, дочери, с которыми она приехала к Панафидиным. Мать когда-то была гораздо красивее дочерей. В вечернем освещении, скрывающем морщины и цвет лица, она соперничала со своим юным потомством. Знакомство завязалось. И скоро искусство отступило перед жизнью. Софья Петровна появлялась на людях грустная, заплаканная. Порой она внезапно прекращала играть и с громом захлопывала крышку рояля.

Левитан все чаще и чаще, пропуская обычные свои рабочие часы, бывал на охоте. Возвращался он всегда с пустым ягдташем, в чистых сапогах. Софья Петровна открыла однажды его патронташ - патроны были целы. С тех пор она невольно зачем-то проверяла их, словно желала ошибиться. Левитан не знал этого. Она не проговорила ни в одну из шумных и тяжелых ссор о своей мучительной тайне.

Борьба между женщинами длилась недолго. Кувшинникова почувствовала себя побежденной. Она вернулась в московскую квартиру раньше срока. Дмитрий Павлович и художник Степанов играли в шахматы и были навеселе. Кувшинникова ничем не выдала своего несчастья. Она вбежала в комнату мужа, как всегда, горячо обняла его, схватила за голову, пристально взгляделась в глаза и... на этот раз ничего не сказала. Сказал только Дмитрий Павлович:

- Соня, тебя заждался твой журавль. Он обезумел от скуки и от злости. Совсем забил моих сеттеров... Вот каналья...

Софья Петровна поспешила в свою спальню. Скоро оттуда донесся какой-то странный звук: там плакали. Художник Степанов вскочил, готовый кинуться на помощь. Дмитрий Павлович усадил его на место и мягко сказал:

- Оставьте ее... Она сейчас дочитывает эпилог своего романа... Все на свете когданибудь кончается...

Левитан не знал счастья с женщиной, оттеснившей Кувшинникову. Старшая дочь его новой подруги, неистовая и страстная, почти до безумия полюбила Исаака Ильича и выступила соперницей матери. Борьба между женщинами за него не затихала до самой смерти художника. Левитан не раз терял присутствие духа, отчаивался, не видел выхода, переживал сильнее семейную драму, чем она того стоила и чем угрожала всем.

Искусство отступало перед жизнью надолго. Он не мог работать. Это вызывало мучительные страдания, он утрачивал веру в свой талант, вновь овладевала художником старинная болезнь - хандра.

Через несколько месяцев после разрыва с Кувшинниковой Левитан не совладал с собой. В июне 1895 года Антон Павлович получил телеграмму из имения под Вышним Волочком, где жил Исаак Ильич. Героини его романа умоляли Чехова немедленно приехать лечить своего друга. Антон Павлович знал последнюю романтическую сложную историю Исаака Ильича и поехал нехотя. Левитан легко поранил голову. Пуля оцарапала кожу.

Левитан удивился приезду Антона Павловича, а узнав причину, рассердился на своих дам. В гневе на их бесцеремонность, при пылком объяснении с женщинами, художник внезапно сорвал с себя повязку и швырнул на пол. Потом, нагромождая одну неловкость на другую, Левитан выбежал из комнаты, скоро вернулся с убитой для чего-то чайкой, которую бросил к ногам плачущей в кресле обиженной женщины.

Чехов ежился, смотрел в пол, лечить не стал, быстро уехал. Но поездку вспомнил, когда писал "Чайку", воспользовавшись этой сценой.

Через месяц после отъезда Чехова другой приятель Исаака Ильича - А. П. Ланговой уже из письма самого художника прочел: "Вам я могу, как своему доктору и доброму знакомому, сказать всю правду, зная, что дальше это не пойдет: меланхолия дошла у меня до того, что я стрелялся, остался жив, но вот уже месяц, как доктор ездит ко мне, промывает рану и ставит тампоны. Вот до чего дошел ваш покорный слуга. Хожу с забинтованной головой, изредка мучительная боль головы доводит до отчаяния. Все-таки с каждым днем мне делается лучше. Думаю попытаться работать. Летом я почти ничего не сделал и, вероятно, не сделаю. Вообще, невеселые мысли бродят в моей голове".

Разрыв с Левитаном поразил Софью Петровну больно, навсегда. Она как-то вдруг погасла, словно ее задули. Кувшинникова по-прежнему принимала друзей в своем салоне под пожарной каланчой, с какими-то художниками ездила на этюды, но самое дорогое и незабываемое постоянно напоминало о себе, и ничто с ним не могло сравниться в настоящем.

Она часто стояла перед своим портретом, сделанным на память Левитаном. Он написал ее в лучшие дни, сидящую, в белом платье. Она бережно хранила и это платье, больше не надевая его.

По смерти Левитана, со слов Софьи Петровны, Голоушев записал воспоминания о художнике. Они единственные в своем роде по теплу, скромности и трогательности отношения к умершему. Ничто лишнее не вкралось в них, ни одного упрека, ни одной обиды...

Кувшинникова была свидетельницей создания Левитаном всех крупных и знаменитых картин его. Без этих прозрачных и простых воспоминаний самое важное в жизни и творчестве Левитана было бы непонятно.

Еще ни одному из русских пейзажистов не выпадало такой славы, какую принесла Левитану картина "Над вечным покоем". Величие художника стало неоспоримым. Художник любил славу, жаждал ее. Картину "Над вечным покоем" понимали по-разному. Чаще не так, как ее задумал и осуществил художник. Великий пейзаж, суровый, мощный, грандиозная масса воды, грандиозное небо, неохватные русские пространства. Поэму о могучей русской природе, а через нее символическое представление о шири в размахе самой исполинской страны многие поняли жалко, нищенски, как призыв художника к вечности, едва ли не к религиозному самоуничтожению. Реальное, здоровое, жизнерадостное, восхищенное познание своеобразного русского пейзажа, восторг перед величием его, идею силы и могущества его свели к какому-то мизерному поповскому "вечному покою", к смирению перед обычным человеческим концом, к смерти. Левитан мучился. Непонимание угнетало его. Он негодовал на товарищей-художников, на зрителей, смотревших на его вещь незрячими глазами. Но обвинял он только себя. Ему казалось, что он не сумел передать в картине тех мыслей и ощущений, которые волновали его и доставляли художнику счастье в большой и долгой работе над картиной.



Над вечным покоем

## НА ЗАКАТЕ

Левитан жил в Трехсвятительском переулке, близ Мясницкой части, во дворе, во флигеле. Вокруг росла буйно и густо сирень, которую так любил Исаак Ильич. Флигель был двухэтажный. Внизу были уютные, теплые жилые комнаты, наверху удобная красивая мастерская, отделанная в коричневых тонах. Среди мольбертов и картин стояло несколько кресел и стульев красного дерева с обивкой малинового штофа, пианино, фисгармония. Мастерскую построил для себя дилетант-любитель С.Т. Морозов. Он мало пользовался ею и, будучи горячим почитателем Левитана, уступил мастерскую художнику. Здесь прожил Исаак Ильич последние шесть лет своей жизни. Здесь он создал картины: "На севере", "Тишина", "Дорожка", "Буря. Дождь", "Солнечный день", "Сумерки", "Изба", "Озеро", "Стога", "Летний вечер".

Всякая из них упрочивала прежнюю славу. Творчество приобретало все больший и больший размах. В гении Левитана открывались новые и новые стороны. Работал Исаак Ильич ежедневно.

Никогда не пропускал светлых утренних часов, запираясь в мастерской от друзей и приятелей-художников. Маленькие левитановские кисти бездействовали во время сердечных припадков Исаака Ильича, часто укладывавших его в постель. Да еще семейные неурядицы, острые и яростные чувства вторгались в работу, ломая заведенный порядок жизни. Здоровый Левитан трудился с редким напряжением. Так течет большая река в равнине. Во внешнем спокойствии творческих часов художника не было самолюбования, каменной уверенности в себе. Он постоянно искал новых форм выражения, дробовал одни, бросал, возвращался к ним вновь, находил другие. Картины стояли на мольбертах годами, дожидаясь последнего мазка. "Они доспевают сами", - говорил шутливо Исаак Ильич, показывая их посетителям мастерской. Только ранние свои вещи - "После дождя", и "Вечер. Золотой Плес" - Левитан написал в один день.

После утренней работы Исаак Ильич отправлялся на прогулку, уходил далеко, долго блуждал в одиночестве по Москве, навещал приятелей и возвращался к позднему обеду. Левитан даже охотничий костюм носил с изяществом, пригнанный, опрятный от белого отложного воротничка на куртке до русских сапог с голенищами за колено. По Москве шел он своеобразной стремительной своей походкой, нарядный, в безукоризненно сшитом пальто у лучшего столичного портного, высокий, стройный, опираясь на прочную трость. Таким его, в движении, красивым щеголем, изобразил на портрете Валентин Серов. Левитана узнавали на улицах неизвестные ему люди и оглядывались вслед. Иногда по вечерам в мастерской Исаака Ильича собирались близкие ему художники, бывшие школьные товарищи, поклонники хозяина, артисты, артистки, музыканты. Бывали здесь Чеховы, Коровины, Нестеров, Переплетчиков, Аладжалов, Голоушев, Степанов. Неизменно на этих вечерах было много музыки, пения, страстных споров, шума и смеха. Гости расходились по домам за полночь.

Известность Левитана росла с каждым годом. Она перешагнула за рубеж. На международном мюнхенском Secession'e Исаака Ильича избрали в действительные члены Мюнхенского общества. Это звание считалось очень почетным, и его редко присуждали русским художникам. На международной парижской выставке французское правительство для национальных музеев приобрело две вещи Левитана. Однажды, роясь в своих бумагах, Исаак Ильич наткнулся на пожелтевший диплом учителя рисования, с которым когда-то изгнали художника из Школы живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой. Левитан весело улыбнулся. Теперь Левитан руководил там пейзажной мастерской. Наконец он получил "высший чин по художеству", как, смеясь, говорил поздравлявшим его друзьям. Исаака Ильича избрали академиком.

Все казалось внешне благополучным. Но втайне Левитан глубоко страдал и был несчастлив. Он не мог не отдавать себе отчета в своем положении. Злая застарелая болезнь сердца шла как бы вместе с возрастающими успехами художника, ложась черной тенью на пути его. Болезнь настигала внезапно, принося нестерпимые боли. Исаак Ильич кричал, все средства утишить боль не помогали, пока она сама не оставляла его. На беду он где-то заразился брюшным тифом. Страшная болезнь, перенесенная им во второй раз, ускорила неизбежную развязку. Левитан неотвязно думал о приближающемся конце. Он теперь знал только два состояния: страстную, неустойчивую, лихорадочную работу и мучительную смертельную тоску. Болезнь отняла у него многие радости жизни. Среди них самую любимую - охоту. Он еще держал старую Весту, разговаривал с ней, повторял счет до десяти, чтобы собака не забывала, но на охоту уже не ходил. Одно лето Левитан жил в Звенигородском уезде в имении Морозова. Художника приехал навестить Переплетчиков. На прогулке вдруг Исаак Ильич остановился и сказал:

- Не могу теперь убивать дичь... Не хожу на охоту. Видно, смерть моя близко...

Он упал на землю и долго-долго рыдал. Художник дышал с трудом, двигался тихо, опираясь на палочку, желтизна легла на лицо его. Порой без всяких причин он становился неузнаваем, весело балагурил, смеялся, бодро ходил по гостям, принимал у себя, открывались пианино и фисгармония в мастерской, он писал шутливые иронические письма. Прорывались удачные недели. Затихшее сердце билось мерно, как у здорового. Тогда он торопился не пропустить дорогого времени. Исаак Ильич запирался от всего света, надрываясь над работой, задумывал планы на несколько лет вперед. Все сметала боль в сердце, возникавшая, когда ее не ждали. Тяжело и безнадежно больной, он создал одно из самых больших и сложных полотен своих - картину "Озеро".

Однажды в мастерскую Исаака Ильича зашел Антон Павлович Чехов. Он давно не бывал у художника, на днях собирался уезжать из Москвы и нарушил правило, которому никогда не изменял, - не посещать друга в неурочное рабочее время. Мастерская оказалась пуста. Чехов выглянул из двери на лестницу, ведущую в жилые комнаты, и позвал Левитана. Оттуда раздался радостный голос художника, просившего подождать. На мольберте стояла недоконченная картина "Озеро". Антон Павлович придвинул знакомое малиновое кресло, удобно погрузился в него, тщательно протер пенсне и залюбовался новой вещью, которую еще не видал. Чем дольше он смотрел, тем яснее для него становилось, что вода в озере, с синей крупной рябью, дрожала, чуть колебался золотистый тростник, качались в обманчивой глубине вод пронизанные солнцем белые облака, мерцала над озером теплая бездонная синь. Антон Павлович приветливо заулыбался и зябко повел плечами: в затененной шторами мастерской было прохладнее, чем на дворе, и откуда-то легонько дуло. Усевшись глубже, Чехов

подъехал на кресле ближе к картине. Он разглядывал ее со все возрастающим вниманием, яснее понимая замысел художника. На берегу озера стояли березы, к воде спускались плодоносные рыхлые полосы ржи, среди них разместились ветхие, неказистые крестьянские избы, и над всем этим шел радостный летний день, полный зноя, истомы. Солнце на картине не было изображено, но невидимый источник света залил широкое, размахнувшееся во все стороны, струящееся пространство. Антон Павлович подумал: "Какая здоровая, жизнерадостная и поэтическая картина! Каждый из русских людей где-то, когда-то видел такое озеро, любовался ослепительной зеркальностью его, хорошо и радостно думал о своей красивой, дивно разнообразной земле. Даже странно, что такую картину создал умирающий мастер".

Левитан поднимался по лесенке и прервал мысли Чехова. Антон Павлович повернулся навстречу художнику, остро оглядел его и остался недоволен его исхудалым видом.

- Вот что значит, ты забыл меня, - сказал Исаак Ильич, обнимая Чехова, - смотри, я в твоё отсутствие какую большую картину успел начать.

Чехов засмеялся.

- Это ты считаешь только началом? Я думал, она готова я ждет отправки на выставку. Не зайдёшь ли сегодня, так бы я скоро и не увидел этого "Озера".

- Нет, нет, - задыхаясь, морщась, с трудом выговорил Исаак Ильич. - Работы ещё много. Все мои прежние вещи были почти без роду и племени. Этюдов к ним я не делал... А эта особенная, заветная... предсмертная...

Антон Павлович неловко покашлял, сбросил пенсне, озабоченно поискал во всех карманах платок, достал его и медленно начал протирать стекла. Левитан вздохнул и показал в разные места на картине:

- Не такой формы я хочу облака. Эта не оригинальна. Недостает скульптурности. Несовершенна вода. Солнечный свет есть, но кажется мне, что его ещё мало. Да и многое другое следует сделать иначе. Тростник ещё недостаточно чуток. Как-то придется оживить его... Он должен легчайшее дуновение воздуха отражать...

Антон Павлович почувствовал в голосе друга нежность к своему новому созданию, заботу о нём, точно художник говорил о живом любимом существе. Левитан оживленно начал рассказывать, что первоначально он хотел назвать эту картину "Русью", хотел выразить в ней плод своих многолетних исканий, своего понимания родины, но в конце концов отказался от такого ответственного и обязывающего слова.

- Почему же? - спросил Чехов. - Как символ... это "Озеро", ты мог бы и так назвать.

- Что ты! - воскликнул Левитан испуганно. - Вещь меня не совсем удовлетворяет. Я лучше поищу в другой вещи, где, может быть, сумею ярче передать мои чувства...

Антон Павлович, смотря на свои худые, бледные руки, с напряженными синими венами, подумал: "Бедный Левитан! Он ещё верит, что будет долго жить... Выглядит он совсем нехорошо... Наверно, умрет раньше меня..." Левитан продолжал:

- Я ещё не умею обобщать, быть предельно кратким, простым, без одного лишнего мазка, как ты это научился делать в своих рассказах. Я многого достиг для упрощения живописи, но не всего. Да и колорист я не на высоте. У меня ещё очень много недостатков...

Антон Павлович весело перебил его:

- Словом, мне, кажется, придется убеждать тебя, что художник ты все-таки не плохой...

Они засмеялись. Левитан задумался и сказал:

- Я боюсь, Антон Павлович, что недолго мне жить осталось. Я много не успею сделать.

Чехов грустно смотрел на своего старого больного друга. Антон Павлович время от времени выслушивал его. После одного такого осмотра Чехов записал в своём дневнике: "У Левитана расширение аорты. Носит на груди глину. Превосходные этюды и страстная жажда жизни". Левитан вынул из ведерка с кистями одну колонковую кисточку и пожаловался:

- Сегодня ещё могу держать инструменты мои, а часто они валяются из рук. Проклятое сердце шалит и беспокоит... До твоего прихода я лежал. Утром встал с намерением работать, оделся... а на лесенку не мог подняться. Пришлось возвратиться на своё ложе... Хорошо, что ты навел меня.

Чехов помолчал, неловко отводя глаза в сторону.

- Выслушай меня, - попросил Левитан и улыбнулся, - ты уж давно не прикладывался к моей хлипкой груди. Может быть, узнаешь что-либо новое...

Антон Павлович не торопясь, тщательно, долго выслушивал больного.

- Плохо? - спросил Левитан.

- Сердце, конечно, траченное, - неопределенно ответил Чехов. - Ты сам это знаешь.

Он уходил из мастерской печальный, но сумев Левитана отвлечь от настойчивого прислушивания к своему сердцу и даже рассмешив какой-то остроумной и веселой шуткой. Исаак Ильич захотел проводить его на улицу. Они вместе вышли. Левитан сделал три шага и поворотил к крыльцу.

- Извини, что-то не слушаются меня ноги, - оказал он, бледнея. - Посиди со мной здесь, если ты никуда не торопишься.

Они сели на ступеньку крыльца. Исаак Ильич несколько раз глубоко вздохнул и, просветленный, тихонько, с осторожностью, словно боясь ошибиться, вымолвил:

- Совсем отлегло... Дышу часто, свободно...

- Но все-таки меня не провожай, - недовольно произнес Антон Павлович.

- Лучше отсидеться прочнее.

Было тепло, солнечно, на уютном дворе весело играли дети, кормилица в высоком кокошнике, широкоплечая, с мощной грудью, со щеками нежно-алыми, словно накрашенными кистью Левитана, катала в колясочке спящее дитя. Исаак Ильич хмурился, смотрел напряженно, не мигая. Потом вдруг быстро встал, простился с Антоном Павловичем и, пряча свои глаза, ушел в дом.

Чехов вскоре после этого свидания писал Суворину: "Новостей нет или печальные. Художник Левитан, по-видимому, скоро умрет. Я выслушивал Левитана: дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует".

Левитана почти насильно отправили в Швейцарию. Тоска гнала его с места на место. Ничуть не поправясь, он вернулся в свою мастерскую. Мысли о близкой смерти врываются в самые счастливые творческие часы - и кисти вываливались из рук. Он боролся со своими унылыми настроениями, хотел победить и не мог предостеречь себя от случайностей, чтобы не вызвать снова припадка своей сердечной болезни.

В одну из прогулок, на редкость спокойных, Левитан внезапно остановился на углу Златоустинского переулка. В сердце словно что-то рванулось. Исаак Ильич едва передохнул. Слабость сковала дрожащие ноги. Не в силах переступить, Исаак Ильич привалился к стене дома. Опомнясь, он вытер лоб, холодный, как металл.

Перед Левитаном стоял высокий, прямой, с большой седой бородой, почти величественный человек. Он гордо держал красивую голову, спокойно смотрел на мимо идущую толпу. Одет он был, несмотря на зиму, в ситцевую, стеганную на вате кацавайку, старушечью, что носят подмосковные молочницы. Подпоясан человек был веревкой. Старые брюки были из сплошных заплат я обмотаны внизу какими-то тряпками. Черно-бурая "художническая" шляпа покрывала белоснежную густую пену вьющихся волос. Под мышкой он держал тяжелый переплет от конторской книги, служивший ему папкой.

- Алексей Кондратьевич! - воскликнул пораженный Левитан.

Саврасов, которого он не видел несколько лет и не слышал о нем ничего, узнал своего бывшего ученика, небрежно принял его руку, помигал и засмеялся.

- Ну, хорошо, хорошо, - забормотал он, - вода и мельницу ломает... Расшевелил ты меня... Пойдем в трактир пить водку... Ты меня должен будешь сегодня напоить, чтобы я не видел, как ты убежишь от пьяного и скандального Саврасова. Идем скорее. Без тебя меня такого ободранного не во всякий трактир пустят. - Он неожиданно закривлялся и плачущим голосом закричал: - А мне в трактир хочется, хочется!..

Левитан опустил глаза, взволновался, замешкался. Но Саврасов уже исчез. Исаак Ильич смутно видел, как Алексей Кондратьевич перебежал Мясницкую и спрятался за воротами одного из соседних домов. Левитан едва добрал до дому. Он два месяца лежал больной после этой несчастной встречи с учителем и едва не умер.

Через год Саврасов скончался. Исаак Ильич был на похоронах среди немногих художников в оборванной толпе хитрованцев, провожавших давнишнего постоянного обитателя Хитрова рынка под кличкой "академик". Саврасова похоронили на Ваганьковском кладбище.

Как-то Исаак Ильич навестил могилу учителя. На заброшенной всеми, неопрятной могиле стоял дешевый деревянный крест с надписью:

**Академик  
Алексей Кондратьевич Саврасов  
Родился 12 мая 1830 года, скончался 28  
сентября 1897 года**

Левитану стало стыдно, и он укорил себя, что не пошел с бедным учителем своим в трактир.

Смерть уже стучалась в дверь, но в ненасытной жажде жизни Левитан не хотел сдаваться. С одышкой подымаясь по лестнице школы на Мясницкой, Исаак Ильич точно, без пропусков, в дни занятий появлялся в бывшей саврасовской мастерской. Он волновался за своих учеников. Учил со страстным желанием передать им все, что постиг в искусстве. Ученики его дебютировали на Передвижной выставке. С провалившимися глазами, облысевший раньше времени, с замученным лицом, с палочкой в руках, через два шага отдыхающий, он поехал в Петербург, на вернисаж. Так было во всем, всегда - самоотверженно, без оглядки назад.

Его все еще лечили, на что-то надеялись, обещали выздоровление. Он слушался врачей, когда советы их совпадали с собственными желаниями художника. Зимой 1899 года Левитана послали в Ялту. Исаак Ильич с радостью согласился. В Ялте, в собственном домике, жил Чехов, тоже хворавший, тоже обреченный.

Стоял конец декабря, невиданно теплый, зимнее солнце словно не заходило. Природа была в эту странную, особенную зиму какой-то удивительно красивой. И Левитан все хотел подняться в горы. Он брел туда, как старик, поминутно останавливался, раздраженно стучал палкой и говорил своей спутнице Марии Павловне Чеховой:

- Мне так нужно туда, выше, где воздух легче, где дышать хорошо, Marie! Как не хочется умирать. Как страшно умирать... И как болит сердце...

На память о себе Левитан написал на камине в кабинете Антона Павловича повторение с известной своей картины "Стога". Сумерки опустились на землю, грустные, неясные, - ночь всегда несет печаль, светил слабо и дрожащее наполовину закрытый месяц, небо было мутное и серое... Антон Павлович бережно, осторожно уклонился от выслушивания левитановского сердца. Дружья тепло и нежно простились навсегда.



Стога. Повторение картины

Весной 1900 года, в один из своих наездов в Москву из провинции, где жил тогда Михаил Васильевич Нестеров, он навестил, как делал всегда, своего школьного товарища и долголетнего друга. Исаак Ильич встретил его усталый, изможденный, в нарядном бухарском золотисто-пестром халате, с белой чалмой на голове. Он показался гостю торжественным и воистину великолепным. Нестеров невольно подумал - такой мог бы позировать и Веронезе для "Брака в Кане Галилейской". Хозяин не знал, куда посадить редкого и дорогого гостя. Прошло много времени, а как будто бы друзья только что встретились. Болезнь пощадила Левитана, последнюю неделю он был оживлен и радостен. Он говорил много о будущих планах, надеждах, обоим волновало положение их в русском искусстве, и друзья старались найти свое место в нем. Это оказалось не так просто и легко.

- Дайте мне только выздороветь, и я совсем иначе буду писать, - сказал Левитан. - Теперь, когда я так много выстрадал, теперь я знаю, как писать. По крайней мере мне это кажется, - поправился Исаак Ильич. - Я стал лучше понимать нашу молодежь, что шумит на всех перекрестках, свергает старых идолов и воздвигает новых кумиров.

Он рассеянно рисовал на оборыше от календаря какой-то новый мотив, мелькнувший перед ним среди разговора.

- Спор между молодым и старым, - ответил Нестеров, - всегда труден, и неизбежен, и необходим. Так было всегда. И будет. Из столкновения школ рождается будущее новое искусство, новые ценности.

- Да, - вдруг горько протянул Левитан, - но в этой борьбе есть художники, которые не пристали ни к тому, ни к другому берегу. Мы с тобой были признанными передвижниками...

- Признанными, но не любимыми, - вставил Нестеров. - Ты, я, Константин Коровин и Серов, мы - пасынки передвижников. Среди них нам остались близкими только Репин, Суриков, Виктор Васнецов...

- И еще кое-кто из сверстников, - сказал Исаак Ильич, оставил рисовать и бережно спрятал в папку рисунок. - Недавно я был в Петербурге, виделся с молодежью, дал на выставку "Мира искусства" этюд, дал и передвижникам картину. Я прав перед самим собой. Ни у тех, ни у других я не ко двору. Я ничей. Но меня оба стана обвиняют, что я очень долго делаю выбор. Меня подталкивают, торопят, бранят, ревнуют друг к другу... Это так тяжело... Одни забывают, что я двадцать лет связан с реализмом, с передвижниками, уйти человеку из обжитого дома нелегко, хотя бы в нем жилось уже и не так удобно. Другие негодуют даже на то, что я встречаюсь с главой "Мира искусства" Дягилевым и люблю с ним беседовать. Несколько дней назад один передвижник наговорил мне за этим столом столько любезностей, что по его уходе я вынужден был звать доктора.

Левитан рассказывал, волнуясь и раздражаясь. Уже несколько лет среди художников происходили яростные, непримиримые схватки за главенство в русском искусстве. Талантливая молодежь, увлеченная французским импрессионизмом, выступила против реалистов-передвижников. Она обвиняла их в живописной отсталости, в пренебрежении самостоятельными задачами и целями изобразительного искусства, в порче вкуса современников и самой гибели подлинной русской школы живописи.

За год до смерти Исаака Ильича молодежь основала свою художественную организацию "Мир искусства". Левитан вначале тяготел к "мир-искусстникам". Но, нерешительный и мягкий по характеру, Исаак Ильич не мог сделать окончательного выбора между старым и новым. Он переживал мучительно шум, поднятый вокруг него, стыдился своей слабости, сомневался в друзьях и противниках. Слабое и хрупкое здоровье Левитана испытывало лишнее напряжение, разрушавшее его.

Дружеская беседа при каждой встрече с Нестеровым непременно затрагивала эти трудные, неизбежные вопросы. Художникам было многое не по душе в обоих обществах. Левитан и Нестеров решили создать свое, привлекая в него лучших из молодых собратий. Сегодня Исаак Ильич отнесся с особой горячностью к этой мысли. Левитан и Нестеров уже видели свои будущие выставки, - и друзья сговорились действовать.

Поздней ночью провожал Левитан Нестерова. Они шли тихо по безмолвным московским бульварам, вспоминали протекшую юность, долгий путь в искусстве, который уже сделали, хотели пойти по новому, надеялись на победу. Обоим было хорошо, приятно, уверенно и крепко на земле. Левитан забыл свою трость дома. Да она сегодня была и не нужна. Исаак Ильич хотел жить, бодро и смело шагал, восхищался чудной весенней ночью, словно первый раз в жизни ее увидел. Друзья простились, крепко обняв друг друга. Они надеялись скоро встретиться и не подозревали, что встреча эта была последней.

Смерть застала Исаака Ильича за неоконченной картиной "Уборка сена". Он писал одну из самых своих светлых, жизнерадостных и солнечных вещей в самый канун преждевременной развязки. Через месяц после встречи с Нестеровым Левитан поехал в Химки со своей пейзажной мастерской, как когда-то ездил туда же с ним, молодым и юным пейзажистом, Саврасов. В Химках Левитан простудился. Болезнь свалила его и не дала больше подняться. Среди консилиума врачей был Антон Павлович Чехов. Великий русский пейзажист умер 22 июля 1900 года.

После похорон в столе Исаака Ильича близкие нашли огромную связку писем. На ней лежала маленькая записка, написанная Левитаном. В ней завещал он сжечь после его смерти все письма. Желание покойного исполнили. Сожгли письма художников Серова, Нестерова, Поленова, Карзухина. Больше всего было писем А. П. Чехова. Их тоже не пощадили...

В тот год стояло удивительное лето. Сирень цвела два раза. Умиравший Левитан застал начало второго цветения. Окна мастерской и жилых комнат были открыты настежь. В тяжелых и душных июльских сумерках лиловые и белые цветы свисали почти до самых подоконников. Левитан с усилием поднимал голову с подушки, тянулся к окнам и, лежа на боку, не отрываясь смотрел на свои любимые цветущие кусты...

Москва. 1930-1940

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Литература о великом русском пейзажисте И. И. Левитане очень бедна. В ней всего на всего несколько малозначительных брошюр, несколько страниц отрывочных воспоминаний разных лиц, несколько случайных газетных заметок и... прочувствованные некрологи. Существует единственная 'монография о художнике, выпущенная в 1913 году, принадлежащая Сергею Глаголю и Игорю Грабарю (предисловие). Она вышла через тринадцать лет после смерти И.И. Левитана. В монографии этой, к счастью, напечатаны небольшие воспоминания С.П. Кувшинниковой и М.П. Чеховой, - лучший биографический материал о мастере. Ценные биографические штрихи о Левитане имеются в газетном фельетоне академика М.В. Нестерова ("Советское искусство" за 1938 г., No 45). При составлении повести "Левитан", кроме выше названных, я пользовался брошюрами С. Шпицера "Воспоминания о художнике И. И. Левитане" и С. Вермеля "Левитан", М.П. Чехова "Вокруг Чехова" (глава о Бабкине), письмами А.П. Чехова, "Дни моей жизни" Щепкиной-Куперник (главы "Софья Петровна и Левитан" и "А.П. Чехов").

Иван Евдокимов